

КЛАССИКА  В ШКОЛЕ

Б. Н. Полевой



Повесть
о настоящем человеке

Борис Полевой

Повесть о настоящем человеке

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=119795

Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке : Эксмо; Москва; 2012

ISBN 978-5-699-59482-5

Аннотация

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которой собраны все произведения, изучаемые в начальной, средней школе и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков.

В книгу включена «Повесть о настоящем человеке» Б.Полевого, изучаемая в средней школе.

Содержание

Часть первая	4
1	4
2	6
3	9
4	13
5	15
6	16
7	18
8	20
9	21
10	23
11	26
12	28
14	30
14	32
15	36
16	39
17	43
18	49
19	51
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Борис Полевой

Повесть о настоящем человеке

Часть первая

1

Звезды еще сверкали остро и холодно, но небо на востоке уже стало светлеть. Деревья понемногу выступали из тьмы. Вдруг по вершинам их прошелся сильный свежий ветер. Лес сразу ожил, зашумел полнозвучно и звонко. Свистящим шепотом перекликнулись между собой столетние сосны, и сухой иней с мягким шелестом полился с потревоженных ветвей.

Ветер стих внезапно, как и налетел. Деревья снова застыли в холодном оцепенении. Сразу стали слышны все предутренние лесные звуки: жадная грызня волков на соседней поляне, осторожное тьяканье лисиц и первые, еще неуверенные удары проснувшегося дятла, раздававшиеся в тишине леса так музыкально, будто долбил он не древесный ствол, а полое тело скрипки.

Снова порывисто шумнул ветер в тяжелой хвое сосновых вершин. Последние звезды тихо погасли в посветлевшем небе. Само небо уплотнилось и сузилось. Лес, окончательно стряхнувший с себя остатки ночного мрака, вставал во всем своем зеленом величии. По тому, как, побагровев, засветились курчавые головы сосен и острые шпили елей, угадывалось, что поднялось солнце и что занявшийся день обещает быть ясным, морозным, ядреным.

Стало совсем светло. Волки ушли в лесные чащобы переваривать ночную добычу, убралась с поляны лисица, оставив на снегу кружевной, хитро запутанный след. Старый лес зашумел ровно, неумолчно. Только птичья возня, стук дятла, веселое цвиканье стрелявших меж ветвей желтеньких синиц да жадный сухой крик соек разнообразили этот тягучий, тревожный и грустный, мягкими волнами перекатывающийся шум.

Сорока, чистившая на ветке ольховника черный острый клюв, вдруг повернула голову набок, прислушалась, присела, готовая сорваться и улететь. Тревожно хрустели сучья. Кто-то большой, сильный шел сквозь лес, не разбирая дороги. Затрещали кусты, заматались вершины маленьких сосенок, закрипел, оседая, наст. Сорока вскрикнула и, распутив хвост, похожий на оперение стрелы, по прямой полетела прочь.

Из припудренной утренним инеем хвои высунулась длинная бурая морда, увенчанная тяжелыми ветвистыми рогами. Испуганные глаза осмотрели огромную поляну. Розовые замшевые ноздри, извергавшие горячий парок встревоженного дыхания, судорожно задвигались.

Старый лось застыл в сосняке, как изваяние. Лишь клочковатая шкура нервно передергивалась на спине. Настороженные уши ловили каждый звук, и слух его был так остер, что слышал зверь, как короед точит древесину сосны. Но даже и эти чуткие уши не слышали в лесу ничего, кроме птичьей трескотни, стука дятла и ровного звона сосновых вершин.

Слух успокаивал, но обоняние предупреждало об опасности. К свежему аромату талого снега примешивались острые, тяжелые и опасные запахи, чуждые этому дремучему лесу. Черные печальные глаза зверя увидели на ослепительной чешуе наста темные фигуры. Не шевелясь, он весь напрягся, готовый сделать прыжок в чащу. Но люди не двигались. Они лежали в снегу густо, местами друг на друге. Их было очень много, но ни один из них не двигался и не нарушал девственной тишины. Возле возвышались вросшие в сугробы какие-то чудовища. Они-то и источали острые и тревожащие запахи.

Испуганно кося глазом, стоял на опушке лось, не понимая, что же случилось со всем этим стадом тихих, неподвижных и совсем не опасных с виду людей.

Внимание его привлек звук, послышавшийся сверху. Зверь вздрогнул, кожа на спине его передернулась, задние ноги еще больше поджались.

Однако звук был тоже не страшный: будто несколько майских жуков, басовито гудя, кружили в листве зацветающей березы. И к гуденью их примешивался порой частый, короткий треск, похожий на вечерний скрип дергача на болоте.

А вот и сами эти жуки. Сверкая крыльями, танцуют они в голубом морозном воздухе. Снова и снова скрипнул в вышине дергач. Один из жуков, не складывая крыльев, метнулся вниз. Остальные опять затанцевали в небесной лазури. Зверь распустил напряженные мускулы, вышел на поляну, лизнул наст, кося глазом на небо. И вдруг еще один жук отвалил от танцевавшего в воздухе роя и, оставляя за собой большой, пышный хвост, понесся прямо к поляне. Он рос так быстро, что лось едва успел сделать прыжок в кусты – что-то громадное, более страшное, чем внезапный порыв осенней бури, ударило по вершинам сосен и брякнулось о землю так, что весь лес загудел, застонал. Эхо понеслось над деревьями, опережая лося, рванувшегося во весь дух в чащу.

Увязло в гуще зеленой хвои эхо. Сверкая и искрясь, осыпался иней с древесных вершин, сбитых падением самолета. Тишина, тягучая и властная, овладела лесом. И в ней отчетливо послышалось, как простонал человек и как тяжело захрустел наст под ногами медведя, которого необычный гул и треск выгнали из леса на полянку.

Медведь был велик, стар и космат. Неопрятная шерсть бурыми клочьями торчала на его впалых боках, сосульками свисала с тощего, поджарого зада. В этих краях с осени бушевала война. Она проникла даже сюда, в заповедную глушь, куда раньше, и то не часто, заходили только лесники да охотники. Грохот близкого боя еще осенью поднял медведя из берлоги, нарушив его зимнюю спячку, и вот теперь, голодный и злой, бродил он по лесу, не зная покоя.

Медведь остановился на опушке, там, где только что стоял лось. Понюхал его свежие, вкусно пахнущие следы, тяжело и жадно задышал, двигая впалыми боками, прислушался. Лось ушел, зато рядом раздавался звук, производимый каким-то живым и, вероятно, слабым существом. Шерсть поднялась на загривке зверя. Он вытянул морду. И снова этот жалобный звук чуть слышно донесся с опушки.

Медленно, осторожно ступая мягкими лапами, под которыми с хрустом проваливался сухой и крепкий наст, зверь направился к неподвижной, вбитой в снег человеческой фигуре...

2

Летчик Алексей Мересьев попал в двойные «клещи». Это было самое скверное, что могло случиться в воздушном бою. Его, расстрелявшего все боеприпасы, фактически безоружного, обступили четыре немецких самолета и, не давая ему ни вывернуться, ни уклониться с курса, повели на свой аэродром...

А получилось все это так. Звено истребителей под командой лейтенанта Мересьева вылетело сопровождать «илы», отправлявшиеся на штурмовку вражеского аэродрома. Смелая вылазка прошла удачно. Штурмовики, эти «летающие танки», как звали их в пехоте, скользя чуть ли не по верхушкам сосен, подкрались прямо к летному полю, на котором рядами стояли большие транспортные «юнкерсы». Неожиданно вынырнув из-за зубцов сизой лесной гряды, они понеслись над тяжелыми тушами «ломовиков», поливая их из пушек и пулеметов свинцом и сталью, забрасывая хвостатыми снарядами. Мересьев, охранявший со своей четверкой воздух над местом атаки, хорошо видел сверху, как заматались по аэродрому темные фигурки людей, как стали грузно расплзаться по накатанному снегу транспортники, как штурмовики делали новые и новые заходы и как пришедшие в себя экипажи «юнкерсов» начали под огнем выруливать на старт и поднимать машины в воздух.

Вот тут-то Алексей и совершил промах. Вместо того чтобы строго стеречь воздух над районом штурмовки, он, как говорят летчики, соблазнился легкой дичью. Бросив машину в пике, он камнем ринулся на только что оторвавшийся от земли тяжелый и медлительный «ломовик», с удовольствием огрел несколькими длинными очередями его четырехугольное пестрое, сделанное из гофрированного дюралья тело. Уверенный в себе, он даже не смотрел, как враг ткнется в землю. На другой стороне аэродрома сорвался в воздух еще один «юнкерс». Алексей погнался за ним. Атаковал – и неудачно. Его огневые трассы скользнули поверх медленно набиравшей высоту машины. Он круто развернулся, атаковал еще раз, снова промазал, опять настиг свою жертву и свалил ее где-то уже в стороне над лесом, яростно всадив в широкое сигарообразное туловище несколько длинных очередей из всего бортового оружия. Уложив «юнкерс» и дав два победных круга у места, где над зеленым всклокоченным морем бесконечного леса поднялся черный столб, Алексей повернул было самолет обратно к немецкому аэродрому.

Но долететь туда уже не пришлось. Он увидел, как три истребителя его звена ведут бой с девятью «мессерами», вызванными, вероятно, командованием немецкого аэродрома для отражения налета штурмовиков. Смело бросаясь на немцев, ровно втрое превосходивших их по числу, летчики стремились отвлечь врага от штурмовиков. Ведя бой, они оттягивали противника все дальше и дальше в сторону, как это делает тетерка, притворяясь подраненной и отвлекая охотников от своих птенцов.

Алексею стало стыдно, что он увлекся легкой добычей, стыдно до того, что он почувствовал, как запыхал под шлемом щеки. Он выбрал себе противника и, стиснув зубы, бросился в бой. Целью его был «мессер», несколько отбившийся от других и, очевидно, тоже высмотревший себе добычу. Выжимая всю скорость из своего «ишачка», Алексей бросился на врага с фланга. Он атаковал немца по всем правилам. Серое тело вражеской машины было отчетливо видно в паутинном крестике прицела, когда он нажимал гашетку. Но тот спокойно скользнул мимо. Промаха быть не могло. Цель была близка и виднелась на редкость отчетливо. «Боеприпасы!» – догадался Алексей, чувствуя, что спина сразу покрылась холодным потом. Нажал для проверки гашетки и не почувствовал того дрожащего гула, какой всем телом ощущает летчик, пуская в дело оружие своей машины. Зарядные коробки были пусты: гоняясь за «ломовиками», он расстрелял весь боекомплект.

Но враг-то не знал об этом! Алексей решил безоружным втесаться в кутерьму боя, чтобы хоть численно улучшить соотношение сил. Он ошибся. На истребителе, который он так неудачно атаковал, сидел опытный и наблюдательный летчик. Немец заметил, что машина безоружна, и отдал приказ своим коллегам. Четыре «мессершмитта», выйдя из боя, обложили Алексея с боков, зажали сверху и снизу и, диктуя ему путь пулевыми трассами, отчетливо видными в голубом и прозрачном воздухе, взяли его в двойные «клещи».

Несколько дней назад Алексей слышал, что сюда, в район Старой Руссы, перелетела с запада знаменитая немецкая авиадивизия «Рихтгофен». Она была укомплектована лучшими асами фашистской империи и находилась под покровительством самого Геринга. Алексей понял, что попал в когти этих воздушных волков и что они, очевидно, хотят привести его на свой аэродром, заставить сесть, чтобы взять в плен живым. Такие случаи тогда бывали. Алексей сам видел, как однажды звено истребителей под командой его приятеля Героя Советского Союза Андрея Дегтяренко привело и посадило на свой аэродром немца-разведчика.

Длинное зеленовато-бледное лицо пленного немца, его шатающийся шаг мгновенно возникли в памяти Алексея. «Плен? Никогда! Не выйдет этот номер!» – решил он.

Но вывернуться ему не удалось. Немцы преграждали ему путь пулеметными очередями, как только он делал малейшую попытку отклониться от диктуемого ими курса. И опять мелькнуло перед ним лицо пленного летчика с искаженными чертами, с дрожащей челюстью. Был в этом лице какой-то унижительный животный страх.

Мересьев крепко сжал зубы, дал полный газ и, поставив машину вертикально, попытался нырнуть под верхнего немца, прижимавшего его к земле. Ему удалось вырваться из-под конвоя. Но немец успел вовремя нажать гашетку. Мотор сбился с ритма и заработал частыми рывками. Весь самолет задрожал в смертельной лихорадке.

Подшибли! Алексей успел свернуть в белую муть облака, сбить со следа погоню. Но что же дальше? Летчик ощущал дрожь подраненной машины всем своим существом, как будто это была не агония изувеченного мотора, а лихорадка, колотившая его собственное тело.

Во что ранен мотор? Сколько может самолет продержаться в воздухе? Не взорвутся ли баки? Все это не подумал, а скорее ощутил Алексей. Чувствуя себя сидящим на динамитной пашке, к которой по шнуру запала уже бежит пламя, он положил самолет на обратный курс, к линии фронта, к своим, чтобы в случае чего хотя бы быть похороненным родными руками.

Развязка наступила сразу. Мотор осекся и замолчал. Самолет, точно соскальзывая с крутой горы, стремительно понесся вниз. Под самолетом переливался зелено-серыми волнами необозримый, как море, лес... «И все-таки не плен!» – успел подумать летчик, когда близкие деревья, сливаясь в продольные полосы, неслись под крыльями самолета. Когда лес, как зверь, прыгнул на него, он инстинктивным движением выключил зажигание. Раздался скрежещущий треск, и все мгновенно исчезло, точно он вместе с машиной канул в темную густую воду.

Падая, самолет задел верхушки сосен. Это смягчило удар. Сломав несколько деревьев, машина развалилась на части, но мгновением раньше Алексея вырвало из сиденья, подбросило в воздух, и, упав на широкоплечую вековую ель, он соскользнул по ветвям в глубокий сугроб, наметенный ветром у ее подножия. Это спасло ему жизнь...

Сколько пролежал он без движения, без сознания, Алексей вспомнить не мог. Какие-то неопределенные человеческие тени, контуры зданий, невероятные машины, стремительно мелькая, проносились перед ним, и от вихревого их движения во всем его теле ощущалась тупая, скребущая боль. Потом из хаоса вышло что-то большое, горячее, неопределенных форм и задышало на него жарким смрадом. Он попробовал отстраниться, но тело его точно влипло в снег. Томимый безотчетным ужасом, он сделал рывок – и вдруг ощутил морозный

воздух, ворвавшийся ему в легкие, холод снега на щеке и острую боль уже не во всем теле, а в ногах.

«Жив!» – мелькнуло в его сознании. Он сделал движение, чтобы подняться, и услышал возле себя хрустящий скрип наста под чьими-то ногами и шумное, хрипловатое дыхание. «Немцы! – тотчас же догадался он, подавляя в себе желание раскрыть глаза и вскочить, защищаясь. – Плен, значит, все-таки плен!.. Что же делать?»

Он вспомнил, что его механик Юра, мастер на все руки, взялся вчера притачать к кобуре оторвавшийся ремешок, да так и не притачал; пришлось, вылетая, положить пистолет в набедренный карман комбинезона. Теперь, чтобы его достать, надо было повернуться на бок. Этого нельзя, конечно, сделать незаметно для врага. Алексей лежал ничком. Бедром он ощущал острые грани пистолета. Но лежал он неподвижно: может быть, враг примет его за мертвого и уйдет.

Немец потоптался возле, как-то странно вздохнул, снова подошел к Мересьеву; похрустел настом, наклонился. Алексей опять ощутил смрадное дыхание его глотки. Теперь он знал, что немец один, и в этом была возможность спастись: если подстеречь его, внезапно вскочить, вцепиться ему в горло и, не дав пустить в ход оружие, завязать борьбу на равных... Но это надо сделать расчетливо и точно.

Не меняя позы, медленно, очень медленно Алексей приоткрыл глаза и сквозь опущенные ресницы увидел перед собой вместо немца бурое мохнатое пятно. Приоткрыл глаза шире и тотчас же плотно зажмурил: перед ним на задних лапах сидел большой, тощий, ободраный медведь.

3

Тихо, как умеют только звери, медведь сидел возле неподвижной человеческой фигуры, едва видневшейся из синевато сверкавшего на солнце сугроба.

Его грязные ноздри тихо подергивались. Из приоткрытого рта, в котором виднелись старые, желтые, но еще могучие клыки, свисала и покачивалась на ветру тоненькая ниточка густой слюны.

Поднятый войной из зимней берлоги, он был голоден и зол. Но медведи не едят мертвечины. Обнюхав неподвижное тело, остро пахнущее бензином, медведь лениво отошел на полянку, где в изобилии лежали такие же неподвижные, вмерзшие в наст человеческие тела. Стон и шорох вернули его обратно.

И вот он сидел около Алексея. Щемящий голод боролся в нем с отвращением к мертвому мясу. Голод стал побеждать. Зверь вздохнул, поднялся, лапой перевернул человека в сугробе и рванул когтями «чертову кожу» комбинезона. Комбинезон не поддавался. Медведь глухо зарычал. Больших усилий стоило Алексею в это мгновение подавить в себе желание открыть глаза, отпрянуть, закричать, оттолкнуть эту грузную, навалившуюся ему на грудь тушу. В то время как все существо его рвалось к бурной и яростной защите, он заставил себя медленным, незаметным движением опустить руку в карман, нащупать там рубчатую рукоять пистолета, осторожно, чтобы не щелкнул, взвести большим пальцем курок и начать незаметно вынимать уже вооруженную руку.

Зверь еще сильнее рванул комбинезон. Крепкая материя затрещала, но опять выдержала. Медведь неистово заревел, схватил комбинезон зубами, защемив через мех и вату тело. Алексей последним усилием воли подавил в себе боль и в тот момент, когда зверь вырвал его из сугроба, вскинул пистолет и нажал курок.

Глухой выстрел треснул раскатисто и гулко.

Вспорхнув, проворно улетела сорока. Иней посыпался с потревоженных ветвей. Зверь медленно выпустил жертву. Алексей упал в снег, не отрывая от противника глаз. Тот сидел на задних лапах, и в черных, заросших мелкой шерстью, гноящихся его глазках застыло недоумение. Густая кровь матовой струйкой пробивалась меж его клыков и падала на снег. Он зарычал хрипло и страшно, грузно поднялся на задние лапы и тут же замертво осел в снег, прежде чем Алексей успел выстрелить еще раз. Голубой наст медленно заплывал красным и, подтаивая, слегка дымился у головы зверя. Медведь был мертв.

Напряжение Алексея схлынуло. Он снова ощутил острую, жгучую боль в ступнях и, повалившись на снег, потерял сознание...

Очнулся он, когда солнце стояло уже высоко. Лучи, пронзавшие хвою, сверкающими бликами жажгали наст. В тени снег казался даже не голубым, а синим.

«Что же, медведь померещился, что ли?» – было первой мыслью Алексея.

Бурая, лохматая, неопрятная туша валялась подле на голубом снегу. Лес шумел. Звучно долбил кору дятел. Звонко цвикали, прыгая в кустах, проворные желтобрюхие синички.

«Жив, жив, жив!» – мысленно повторял Алексей. И весь он, все тело его ликовало, впитывая в себя чудесное, могучее, пьянящее ощущение жизни, которое приходит к человеку и захватывает его всякий раз после того, как он перенес смертельную опасность.

Повинуясь этому могучему чувству, он вскочил на ноги, но тут же, застонав, присел на медвежью тушу. Боль в ступнях прожгла все его тело. В голове стоял глухой, тяжелый шум, точно вращались в ней, грохоча, сотрясая мозг, старые, щербатые жернова. Глаза ломило, будто кто-то нажимал на них поверх век пальцем. Все окружающее то виднелось четко и ярко, облитое холодными желтыми солнечными лучами, то исчезало, покрываясь серой, мерцающей искрами пеленой.

«Плохо... Должно быть, контузило при падении и с ногами что-то случилось», – подумал Алексей.

Приподнявшись, он с удивлением оглядел широкое поле, видневшееся за лесной опушкой и ограниченное на горизонте сизым полукругом далекого леса.

Должно быть, осенью, а вернее всего – ранней зимой по опушке леса через это поле проходил один из оборонительных рубежей, на котором недолго, но упорно, как говорится – насмерть, держалась красноармейская часть. Метели прикрыли раны земли слежавшейся снежной ватой. Но и под ней легко угадывались кротовые ходы окопов, холмики разбитых огневых точек, бесконечные выбоины мелких и крупных снарядных воронок, видневшихся вплоть до подножий избитых, израненных, обезглавленных или вывернутых взрывами деревьев опушки. Среди истерзанного поля в разных местах вмерзло в снег несколько танков, окрашенных в пестрый цвет щучьей чешуи. Все они – в особенности крайний, который, должно быть, взрывом гранаты или мины повалило набок, так что длинный ствол его орудия высунутым языком свисал к земле, – казались трупами неведомых чудовищ. И по всему полю – у брустверов неглубоких окопчиков, возле танков и на лесной опушке – лежали вперемешку трупы красноармейцев и немецких солдат. Было их так много, что местами громозились они один на другой. Они лежали в тех же закрепленных морозом позах, в каких несколько месяцев назад, еще на грани зимы, застигла людей в бою смерть.

Все говорило Алексею об упорстве и ярости бушевавшего здесь боя, о том, что его боевые товарищи дрались, позабыв обо всем, кроме того, что нужно остановить, не пропустить врага. Вот недалеко, у опушки, возле обезглавленной снарядом толстой сосны, высокий, косо обломленный ствол которой истекает теперь желтой прозрачной смолой, валяются немцы с разможенными черепами, с раздробленными лицами. В центре, поперек одного из врагов, лежит навзничь тело огромного круглолицего большелобого парня без шинели, в одной гимнастерке без пояса, с разорванным воротом, и рядом винтовка со сломанным штыком и окровавленным, избитым прикладом.

А дальше, у дороги, ведущей в лес, под закиданной песком молодой елочкой, наполовину в воронке, также навзничь лежит на ее краю смуглый узбек с тонким лицом, словно выточенный из старой слоновой кости. За ним под ветвями елки виднеется аккуратная стопка еще не израсходованных гранат, и сам он держит гранату в закинутой назад мертвой руке, как будто, перед тем как ее бросить, решил он глянуть на небо, да так и застыл.

И еще дальше, вдоль лесной дороги, возле пятнистых танковых туш, у откосов больших воронок, в окопчиках, подле старых пней, – всюду мертвые фигуры в ватниках и стеганых штанах, в грязновато-зеленых френчах и рогатых пилотках, для тепла насунутых на уши; торчат из сугробов согнутые колени, запрокинутые подбородки, вытяжавшие из наста восковые лица, обглоданные лисами, обклеванные сороками и вороньем.

Несколько воронов медленно кружили над поляной, и вдруг напомнила она Алексею торжественную, полную мрачной мощи картину Игровой сечи, воспроизведенную в школьном учебнике истории с полотна великого русского художника.

«Вот и я лежал бы тут!» – подумал он, и снова все существо его наполнилось бурным ощущением жизни. Он встряхнулся. В голове еще медленно кружились щербатые жернова, ноги горели и ныли пуще прежнего, но Алексей, сидя на уже похолодевшей и посеребрянной сухим снежком медвежьей туше, стал думать, что ему делать, куда идти, как добраться до своих передовых частей.

Планшет с картой он потерял при падении. Но и без карты Алексей ясно представлял себе сегодняшний маршрут. Немецкий полевой аэродром, на который налетали штурмовики, лежал километрах в шестидесяти на запад от линии фронта. Связав немецкие истребители воздушным боем, его летчикам удалось оттянуть их от аэродрома на восток примерно километров на двадцать, да и ему, после того как вырвался он из двойных «клещей», удалось,

вероятно, еще немного протянуть к востоку. Стало быть, упал он приблизительно километрах в тридцати пяти от линии фронта, далеко за спиной передовых немецких дивизий, где-то в районе огромного, так называемого Черного леса, через который не раз приходилось ему летать, сопровождая бомбардировщиков и штурмовиков в их короткие рейды по ближним немецким тылам. Этот лес всегда казался ему сверху бесконечным зеленым морем. В хорошую погоду лес клубился шапками сосновых вершин, а в непогоду, подернутый серым туманом, напоминал помрачневшую водную гладь, по которой ходят мелкие волны.

То, что он рухнул в центре этого заповедного леса, было и хорошо и плохо. Хорошо потому, что вряд ли здесь, в этих девственных чащобах, можно было встретить немцев, тяготивших обычно к дорогам и жилью. Плохо же потому, что предстояло совершить хотя и не очень длинный, но тяжелый путь по лесным зарослям, где нельзя надеяться на помощь человека, на кусок хлеба, на крышу, на плоток кипятку. Ведь ноги... Поднимут ли ноги? Пойдут ли?..

Он тихо привстал с медвежьей туши. Та же острая боль, возникавшая в ступнях, пронзила его тело снизу вверх. Он вскрикнул. Пришлось снова сесть. Попытался скинуть унт. Унт не слезал, и каждый рывок заставлял стонать. Тогда Алексей стиснул зубы, зажмурился, изо всех сил рванул унт обеими руками – и тут же потерял сознание. Очнувшись, он осторожно развернул байковую портянку. Вся ступня распухла и представляла собой сплошной сизый синяк. Она горела и ныла каждым своим суставом. Алексей поставил ногу на снег – боль стала слабее. Таким же отчаянным рывком, как будто он сам у себя вырывал зуб, снял он второй унт.

Обе ноги никуда не годились. Очевидно, когда удар самолета по верхушкам сосен выбросил его из кабины, ступни что-то прищемило и раздробило мелкие кости плюсны и пальцев. Конечно, в обычных условиях он даже и не подумал бы подняться на эти разбитые, распухшие ноги. Но он был один в лесной чаще, в тылу врага, где встреча с человеком сулила не облегчение, а смерть. И он решил идти, идти на восток, идти через лес, не пытаясь искать удобных дорог и жилых мест, идти, чего бы это ни стоило.

Он решительно вскочил с медвежьей туши, охнул, закрипел зубами и сделал первый шаг. Постоял, вырвал другую ногу из снега, сделал еще шаг. В голове шумело, лес и поляна покачнулись, поплыли в сторону.

Алексей чувствовал, что слабеет от напряжения и боли. Закусив губу, он продолжал идти, добираясь к лесной дороге, что вела мимо подбитого танка, мимо узбека с гранатой, в глубь леса, на восток. По мягкому снегу идти было еще ничего, но, как только он ступил на твердый, обдутый ветрами, покрытый ледком горб дороги, боль стала такой нестерпимой, что он остановился, не решаясь сделать еще хотя бы шаг. Так стоял он, неловко расставив ноги, покачиваясь, точно от ветра. И вдруг все посерело перед глазами. Исчезли дорога, сосна, сизая хвоя, голубой продолговатый просвет над ней... Он стоял на аэродроме у самолета, своего самолета, и его механик, или, как он называл его, «технарь», долговязый Юра, блестя зубами и белками глаз, всегда сверкавшими на его небритом и вечно чумазом лице, приглашающим жестом показывал ему на кабину: дескать, готово, давай к полету... Алексей сделал к самолету шаг, но земля пылала, жгла ноги, точно ступал он по раскаленной плите. Он рванулся, чтобы перескочить через эту пышущую жаром землю прямо на крыло, но толкнулся о холодный фюзеляж и удивился. Фюзеляж был не гладкий, покрытый лаком, а шероховатый, облицованный сосновой корой... Никакого самолета – он на дороге и шарит рукой по стволу дерева.

«Галлюцинация? Схожу с ума от контузии, – подумал Алексей. – Идти по дороге невыносимо. Свернуть на целину? Но это намного замедлит путь...» Он сел на снег, снова теми же решительными, короткими рывками стащил унты, ногтями и зубами разорвал их в подь-

емах, чтобы не теснили они разбитые ступни, снял с шеи большой пуховый шарф из ангорской шерсти, разодрал его пополам, обмотал ступни и снова обулся.

Теперь идти стало легче. Впрочем, идти – это неправильно сказано: не идти, а двигаться, двигаться осторожно, наступая на пятки и высоко поднимая ноги, как ходят по болоту. От боли и напряжения через несколько шагов начинало кружить голову. Приходилось стоять, закрыв глаза, прислонившись спиной к стволу дерева, или присаживаться на сугроб и отдыхать, чувствуя острое биение пульса в венах.

Так двигался он несколько часов. Но когда оглянулся, в конце просеки еще виднелся освещенный поворот дороги, у которого темным пятнышком выделялся на снегу мертвый узбек. Это очень огорчило Алексея. Огорчило, но не испугало. Ему захотелось идти быстрее. Он поднялся с сугроба, крепко сцепил зубы и пошел вперед, намечая перед собой маленькие цели, сосредоточивая на них внимание, – от сосны к сосне, от пенька к пеньку, от сугроба к сугробу. На девственном снегу пустынной лесной дороги вился за ним вялый, извилистый, нечеткий след, какой оставляет раненый зверь.

4

Так двигался он до вечера. Когда солнце, заходившее где-то за спиной Алексея, бросило холодное пламя заката на верхушки сосен и в лесу стали сгущаться серые сумерки, возле дороги, в поросшей можжевельником ложинке, Алексею открылась картина, при виде которой точно мокрым полотенцем провели у него вдоль спины до самой шеи и волосы шевельнулись под шлемом.

В то время как там, на поляне, шел бой, в ложине, в зарослях можжевельника, располагалась, должно быть, санитарная рота. Сюда относили раненых и тут укладывали их на подушках из хвои. Так и лежали они теперь рядами под сенью кустов, полузанесенные и вовсе засыпанные снегом. С первого взгляда стало ясно, что умерли они не от ран. Кто-то ловкими взмахами ножа перерезал им всем горло, и они лежали в одинаковых позах, откинув далеко голову, точно стараясь заглянуть, что делается у них позади. Тут же разъяснилась тайна страшной картины. Под сосной, возле занесенного снегом тела красноармейца, держа его голову у себя на коленях, сидела по пояс в снегу сестра, маленькая, хрупкая девушка в ушанке, завязанной под подбородком тесемками. Меж лопаток торчала у нее рукоять ножа, поблескивающая полировкой. А возле, вцепившись друг другу в горло в последней мертвой схватке, застыли немец в черном мундире войск СС и красноармеец с головой, забинтованной кровавой марлей. Алексей сразу понял, что этот в черном прикончил раненых своим ножом, заколол сестру и тут был схвачен не добытым им человеком, который все силы своей угасавшей жизни вложил в пальцы, сжавшие горло врага.

Так их и похоронила метель – хрупкую девушку в ушанке, прикрывшую своим телом раненого, и этих двоих, палача и мстителя, что вцепились друг в друга у ее ног, обутых в старенькие кирзовые сапожки с широкими голенищами.

Несколько мгновений Мересьев стоял пораженный, потом подковылял к сестре и вырвал из ее тела кинжал. Это был эсэсовский нож, сделанный в виде древнегерманского меча, с рукоятью красного дерева, в которую был врезан серебряный эсэсовский знак. На ржавом лезвии сохранилась надпись: «Alles für Deutschland». Кожаные ножны кинжала Алексей снял с эсэсовца. Нож был необходим в пути. Потом он выкопал из-под снега заскорузлую, обледелую плащ-палатку, бережно покрыл ею труп сестры, положил сверху несколько сосновых веток...

Пока он занимался всем этим, стемнело. На западе погасли просветы между деревьями. Морозная и густая тьма обступила ложину. Тут было тихо, но ночной ветер гулял по вершинам сосен, лес шумел то убаюкивающе-певуче, то порывисто и тревожно. По ложине тянул невидимый уже глазом, тихо шуршащий и покалывающий лицо снежок.

Родившийся в Камышине, среди поволжских степей, горожанин, неопытный в лесных делах, Алексей не позаботился заблаговременно ни о ночлеге, ни о костре. Застигнутый крошечной тьмой, ощущая невыносимую боль в разбитых, натруженных ногах, он не нашел в себе сил идти за топливом, забрался в густую поросль молодого сосняка, присел под деревом, весь сжался в комок, спрятал лицо в колени, охваченные руками, и, обогреваясь своим дыханием, замер, жадно наслаждаясь наступившим покоем и неподвижностью.

Наготове был пистолет со взведенным курком, но вряд ли Алексей смог бы применить его в эту первую ночь, проведенную им в лесу. Он спал как каменный, не слыша ни ровного шума сосен, ни уханья филина, стонавшего где-то у дороги, ни далекого воя волков – ничего из тех лесных звуков, которыми была полна густая и непроницаемая, плотно обступавшая его тьма.

Зато проснулся он сразу, точно от толчка, когда чуть брезжил серенький рассвет и только ближние деревья неясными силуэтами выступали из морозной мглы. Проснулся,

вспомнил, что с ним, где он, и задним числом испугался этой так беспечно проведенной в лесу ночи. Промозглый холод пробился сквозь «чертову кожу» и мех комбинезона и пробрал до костей. Тело била мелкая неудержимая дрожь. Но самое страшное было – ноги: они болели еще острее, даже теперь, когда находились в покое. Со страхом подумал он о том, что нужно вставать. Но встал он так же решительно, рывком, как вчера срывал с себя унты. Время было дорого.

Ко всем тяготам, обрушившимся на Алексея, прибавился голод. Еще вчера, прикрывая тело сестры плащ-палаткой, он заметил возле нее брезентовую сумку с красным крестом. Какой-то зверек похозяйничал уже там, и на снегу около прогрызенных дыр валялись крошки. Вчера Алексей почти не обратил на это внимания. Сегодня он поднял сумку. В ней оказалось несколько индивидуальных пакетов, большая банка консервов, пачка чьих-то писем, зеркальце, на оборотной стороне которого была вставлена фотография худенькой старушки. Был, видно, в сумке хлеб или сухари, да птицы или звери расправились с этой едой. Алексей рассовал банку и бинты по карманам комбинезона, сказав про себя: «Спасибо, родная!» – поправил сброшенную ветром с ног девушки плащ-палатку и медленно побрел на восток, который уже оранжево пламенел за сеткой древесных ветвей.

У него была теперь килограммовая банка консервов, и он решил есть раз в сутки, в полдень.

5

Чтобы заглушить боль, которую причинял ему каждый шаг, он стал отвлекать себя, обдумывая и рассчитывая свой путь. Если делать в сутки десять-двенадцать километров, он дойдет до своих за три, самое большее – за четыре дня.

Так, хорошо! Теперь: что значит пройти десять-двенадцать километров? Километр – это две тысячи шагов; стало быть, десять километров – двадцать тысяч шагов, а это много, если учесть, что после каждых пятисот-шестисот шагов приходится останавливаться и отдыхать...

Вчера Алексей, чтобы сократить путь, намечал себе какие-то зримые ориентиры: сосну, пенек, ухаб на дороге – и к ним стремился, как к месту отдыха. Теперь он перевел все это на язык цифр, переложил на число шагов. Он решил перегон между местами отдыха делать в тысячу шагов, то есть в полкилометра, и отдыхать по часам, не более пяти минут. Выходило, что с рассвета и до заката он, хотя и с трудом, пройдет километров десять.

Но как тяжело далась ему первая тысяча шагов! Он пытался переключить свое внимание на подсчет, чтобы ослабить боль, но, пройдя пятьсот шагов, начал путать, врать и уже не мог думать ни о чем другом, кроме жгучей, дергающей боли. И все же он прошел эту тысячу шагов. Не имея уже сил присесть, он упал лицом а снег и стал жадно лизать наст. Прижимался к нему лбом, висками, в которых стучала кровь, и испытывал несказанное блаженство от леденящего прикосновения.

Потом он вздрогнул, посмотрел на часы. Секундная стрелка отщелкивала последние мгновенья пятой минуты. Он со страхом взглянул на нее, как будто, когда завершит она свой круг, должно произойти что-то ужасное; а когда она коснулась цифры «шестьдесят», сразу вскочил на ноги, застонал и двинулся дальше.

К полудню, когда лесной полумрак заискрился тонкими нитями пробившихся сквозь густую хвою солнечных лучей и в лесу крепко запахло смолой и талым снегом, он совершил всего четыре таких перехода. Он так и сел посреди дороги на снегу, уже не имея сил добраться до ствола большой березы, валявшегося чуть ли не на расстоянии протянутой руки. Долго сидел он, опустив плечи, ни о чем не думая, ничего не видя и не слыша, не испытывая даже голода.

Вздохнул, бросил в рот несколько комочков снега и, преодолевая сковывающее тело оцепенение, достал из кармана ржавую банку, открыл ее кинжалом. Он положил в рот кусок замерзшего, безвкусного сала, хотел его проглотить, но сало растаяло. Он ощутил во рту его вкус и вдруг почувствовал такой голод, что с трудом заставил себя оторваться от банки, и принялся есть снег, чтобы только что-нибудь плотать.

Перед тем как двинуться снова в путь, Алексей вырезал из можжевельника палки. Он опирался на них, но идти становилось час от часу все труднее.

6

...Третий день пути по дремучему лесу, где Алексей не видел ни одного человеческого следа, ознаменовался неожиданным происшествием.

Он проснулся с первыми лучами солнца, дрожа от холода и внутреннего озноба. В кармане комбинезона нашел он зажигалку, сделанную ему на память из винтовочного патрона механиком Юрой. Он как-то совсем забыл о ней и о том, что можно и нужно разводить огонь. Наломав с ели, под которой спал, сухих мшистых веток, он покрыл их хвоей и зажег. Желтые шустрые огоньки вырвались из-под сизого дыма. Смолистое сухое дерево занялось быстро и весело. Пламя перебежало на хвою и, раздуваемое ветром, разгоралось со стонами и свистом.

Костер трещал и шипел, распространяя сухой благотворный жар. Алексею стало уютно, он опустил «молнию» комбинезона, достал из кармана гимнастерки несколько истертых писем, написанных одним и тем же круглым старательным почерком, вынул из одного фотографию тоненькой девушки в пестром, цветастом платье, сидевшей, подобрав ноги, в траве. Он долго смотрел на нее, потом снова бережно обернул в целлофан, заложил в письмо и, задумчиво подержав в руках, убрал обратно в карман.

– Ничего, ничего, все будет хорошо, – сказал он, обращаясь не то к этой девушке, не то к самому себе, и задумчиво повторил: – Ничего...

Теперь уже привычными движениями сорвал он с ног унты, размотал куски шарфа, внимательно осмотрел ноги. Они еще больше опухли. Пальцы торчали в разные стороны, точно ступни были резиновые и их надули воздухом. Цвет у них был еще более темный, чем вчера.

Алексей вздохнул, прощаясь с затухавшим костром, и снова побрел по дороге, скрипя палками по обледеневшему снегу, кусая губы и порой теряя сознание. Вдруг среди других шумов леса, которые привыкшее ухо почти перестало улавливать, услышал он отдаленный звук работающих моторов. Сначала он подумал, что это ему мерещится от усталости, но моторы гудели все громче, то подвывая на первой скорости, то затихая. Очевидно, то были немцы, и ехали они по той же дороге. Алексей почувствовал, как сразу похолодело у него внутри.

Страх придал Алексею силы. Забыв об усталости, о боли в ногах, свернул он с дороги, добрел по целине до густого елового подлеска и тут, зайдя в чашу, опустился на снег. С дороги его, конечно, трудно было заметить; ему же дорога была отчетливо видна, освещенная полуденным солнцем, уже стоявшим над зубчатым забором еловых вершин.

Шум приближался. Алексей вспомнил, что на снегу заброшенной дороги ясно виден его одинокий след.

Но уходить было поздно, мотор передней машины гудел где-то совсем близко. Алексей еще крепче вжался в снег. Сначала мелькнул среди ветвей плоский, похожий на колун броневик, окрашенный известью. Покачиваясь и звеня цепями, он приближался к месту, где след Алексея свертывал в лес. Алексей затаил дыхание. Броневику не остановился. За броневиком шел маленький открытый вездеход. Кто-то в высоковерхой фуражке, уткнувшись носом в бурый меховой воротник, сидел рядом с шофером, а сзади на высокой скамейке покачивались автоматчики в серо-зеленых шинелях и касках. На некотором расстоянии, фырча и лязгая гусеницами, шел еще один, уже большой, вездеход, на котором рядами сидело человек пятнадцать немцев.

Алексей вжимался в снег. Машины были так близко, что ему в лицо пахло теплым смрадом газолиновой гари. Волосы шевельнулись у него на затылке, и мускулы свернулись

в тугие клубки. Но машины прошли, запах развеялся, и уже откуда-то издали раздавался еле различимый шум моторов.

Дождавшись, пока все стихнет, Алексей выбрался на дорогу, на которой отчетливо отпечатались лестничные следы гусениц, и по этим следам продолжал путь. Он двигался теми же равномерными переходами, так же отдыхал, так же поел, пройдя половину дневного пути. Но теперь он шел по-звериному, осторожно. Встревоженный слух ловил каждый шорох, глаза рыскали по сторонам, как будто он знал, что где-то рядом крадется, прячется большой опасный хищник.

Летчик, привыкший воевать в воздухе, он в первый раз встретил на земле живых, неповрежденных врагов. Теперь он брел по их следу, злорадно усмехаясь. Невесело же живется им здесь, неудобно, не хлебосольна оккупированная ими земля! Даже вот по девственному лесу, где за три дня не видел Алексей ни одной человеческой, живой приметки, приходится их офицеру ездить под таким конвоем.

«Ничего, ничего, все будет хорошо!» – подбадривал себя Алексей и все шагал, шагал, шагал, стараясь не замечать, что ноги его болят все острее и что он сам заметно слабеет. Желудок уже не обманывали ни кусочки молодой еловой коры, которые он все время грыз и проглатывал, ни горьковатые березовые почки, ни нежная и клейкая, тянущаяся под зубами кашица молодой липовой коры.

До сумерек он едва прошел пять перегонов. Зато на ночь он развел большой костер, обложив хвоей и сушняком огромный полусгнивший березовый ствол, валявшийся на земле. Пока ствол этот тлел горячо и неярко, он спал, вытянувшись на снегу, ощущая живительное тепло то в одном, то в другом боку, инстинктивно поворачиваясь и просыпаясь, чтобы подбросить сушняку к затухавшему бревну, сипевшему в ленивом пламени.

Среди ночи разыгралась метель. Зашевелились, тревожно зашумели, застонали, закрипели над головой сосны. Тучи колючего снега поволокло по земле. Шелестящий мрак заплясал над ухающим, искрящимся пламенем. Но снежная буря не встревожила Алексея. Он спал сладко и жадно, защищенный теплом костра.

Огонь защищал от зверей. А немцев в такую ночь можно было не бояться. Они не посмеют появиться в метель в глухом лесу. И все же, пока натруженное тело отдыхало в дымном тепле, ухо, уже приученное к звериной осторожности, ловило каждый звук. Под утро, когда буря спала и в темноте над притихшей землей навис густой белесый туман, почудилось Алексею, что за звоном сосновых вершин, за шелестом падающего снега услышал он отдаленные звуки боя, разрывы, автоматные очереди, винтовочные выстрелы.

«Неужели линия фронта? Так скоро?»

7

Но когда утром ветер размел туман, а лес, посеребрённый за ночь, седой и веселый, засверкал на солнце иглистым инеем и, как будто радуясь этому его внезапному преображению, защебетала, запела, зачирикала птичья братия, почуявшая грядущую весну, сколько ни прислушивался Алексей, не мог он уловить шума боя – ни стрельбы, ни даже гула канонады.

Белыми дымчатыми струйками, колюче посверкивая на солнце, сыпался с деревьев снег. Кое-где на снег с легким стуком падали тяжелые весенние капли. Весна! В это утро она впервые заявила о себе так решительно и настойчиво.

Жалкие остатки консервов – несколько волоконцев покрытого ароматным салом мяса – Алексей решил съесть утром, так как почувствовал, что иначе ему не подняться. Он тщательно выскреб банку пальцем, порезав в нескольких местах руку об ее острые края, но ему мерещилось, что еще осталось сало. Он наполнил банку снегом, разгреб седой пепел затухавшего костра, поставил банку в тлевшие угли, а потом с наслаждением, маленьким глотками выпил эту горячую, чуть-чуть пахнущую мясом воду. Банку он сунул в карман, решив кипятить в ней чай. Пить горячий чай! Это было приятным открытием и немного подбодрило Алексея, когда он вновь двинулся в путь.

Но тут его ожидало большое разочарование. Ночной буран совершенно замел дорогу. Он преградил ее косыми, островерхими сугробами. Глаза резала однотонная сверкающая голубизна. Ноги вязли в пухлом, еще не улежавшемся снегу. Вырывать их приходилось с трудом. Даже палки, которые сами вязли, плохо помогали.

К полудню, когда тени под деревьями стали черными, а солнце заглянуло через вершины на просеку дороги, Алексей сумел сделать всего около тысячи пятисот шагов и устал так, что каждое новое движение доставалось ему напряжением воли. Его качало. Земля выскальзывала из-под ног. Он поминутно падал, мгновение неподвижно лежал на вершине сугроба, прижимаясь лбом к хрустящему снегу, потом поднимался и делал еще несколько шагов. Неудержимо клонило в сон. Тянуло лечь, забыться, не шевелить ни одним мускулом. Будь что будет! Он останавливался, цепenea и пошатываясь из стороны в сторону, затем, больно закусив губу, приводил себя в сознание и снова делал несколько шагов, с трудом выволакивая ноги.

Наконец он почувствовал, что больше не может, что никакая сила не сдвинет его с места и что, если теперь он сядет, ему уже больше не подняться. С тоской огляделся он кругом. Рядом, на обочине дороги, стояла курчавая молоденькая сосенка. Последним усилием шагнул к ней и повалился на нее, попав подбородком в расщелину ее раздвоенной вершины. Тяжесть, приходившаяся на разбитые ноги, несколько уменьшилась, стало легче. Он лежал на пружинящих ветках, наслаждаясь покоем. Желая улечься поудобнее, он оперся подбородком о рогатку сосенки, подтянул ноги – одну, другую, и они, не неся на себе тяжести тела, легко освободились из сугроба. И тут у Алексея опять мелькнула мысль.

Ну да, ну да! Ведь можно же срезать вот это маленькое деревце, сделать из него длинную палку, с рогаткой наверху, выбрасывать палку вперед, упираться в рогатку подбородком, переносить на нее тяжесть тела, а потом, вот как сейчас у сосенки, переставлять ноги вперед. Медленно? Ну да, конечно, медленно, зато не так будешь уставать и можно будет продолжать путь, не ожидая, пока осядут, умнуты сугробы.

Он тут же упал на колени, срубил кинжалом деревце, отрезал ветки, обмотал рогатку носовым платком, бинтами и тотчас же попробовал двинуться в дорогу. Выбросил палку вперед, уперся в нее подбородком и руками, сделал шаг, два, снова выбросил палку, снова уперся, снова шаг, два. И пошел, считая шаги и устанавливая себе новые нормы передвижения.

Вероятно, со стороны было бы странно видеть человека, бредущего таким непонятным способом в глухом лесу,двигающегося по глубоким сугробам со скоростью гусеницы, идущего от зари до зари и проходящего за этот срок не больше пяти километров. Но лес был пуст. Никто, кроме сорок, не наблюдал за ним. Сороки же, за эти дни убедившиеся в безобидности этого странного трехногого, неповоротливого существа, при его приближении не улетали, а только неохотно соскакивали с дороги и, повернув голову набок, насмешливо смотрели на него своими любопытными черными глазами-бусинками.

8

Так брел он еще два дня по снежной дороге, выбрасывая вперед палку, ложась на нее и подтягивая к ней ноги. Ступни уже окаменели и ничего не чувствовали, но тело при каждом шаге пронзала боль. Голод перестал мучить. Судороги и резь в животе прекратились и перешли в постоянную тупую боль, как будто пустой желудок отвердел и, неловко перевернувшись, сдавил все внутренности.

Алексей питался молодой сосновой корой, которую на отдыхе сдирал кинжалом, почками берез и лип да еще зеленым мягким мхом. Он выкапывал его из-под снега и на ночлегах вываривал в кипятке. Отрадой ему был «чай» из собранных на проталинах лакированных листочков брусники. Горячая вода, наполняя тело теплом, создавала даже иллюзию сытости. Прихлебывая пахнущий дымом и веником горячий взвар, Алексей как-то весь успокаивался, и не таким бесконечным и страшным казался ему путь.

На шестой ночлег он расположился опять под зеленым шатром раскидистой ели, а костер разложил рядом, вокруг старого смолистого пня, который, по его расчетам, должен был жарко тлеть всю ночь. Еще не стемнело. На вершине ели суежилась невидимая белка. Она лущила шишки и время от времени, пустые и растерзанные, бросала вниз. Алексея, у которого теперь пища не выходила из ума, заинтересовало, что же находит в шишках зверек. Он поднял одну из них, отколупнул нетронутую чешуйку и увидел под ней однокрылое семечко размером с просяное зерно. Оно напоминало крохотный кедровый орешек. Он раздавил его зубами. Во рту почувствовался приятный запах кедрового масла.

Алексей тотчас же собрал вокруг несколько нераскрывшихся сырых еловых шишек, положил их к огню, подкинул веток, а когда шишки ошетинились, стал вытряхивать из них семена и тереть между ладонями. Он сдувал крылышки, а крохотные орешки бросал в рот.

Тихо шумел лес. Тлел смолистый пень, распространяя душистый, отдающий ладаном неедкий дым. Пламя то разгоралось, то затухало, и из шумящей тьмы то выступали в освещенный круг, то отходили обратно во мрак стволы золотых сосен и серебряных берез.

Алексей подбрасывал ветки и снова принимался за еловые шишки. Запах кедрового масла будил в памяти давно позабытую картину детства... Маленькая комната, густо населенная знакомыми вещами. Стол под висячей лампой. Мать в праздничном платье, вернувшись от всенощной, торжественно достает из сундука бумажный фунтик и высыпает из него в миску кедровые орехи. Вся семья – мать, бабушка, два брата, он, Алексей, самый маленький, – садится вокруг стола, и начинается торжественное лущение орешков, этого праздничного лакомства. Все молчат. Бабушка выковыривает зернышки шпилькой, мать – булавкой. Она ловко надкусывает орешек, извлекает оттуда ядрышки и складывает их кучкой. А потом, собрав их в ладонь, отправляет разом в рот кому-нибудь из ребят, и при этом счастливчик ощущает губами жесткость ее трудовой, не знающей усталости руки, пахнущей ради праздника земляничным мылом.

Камышин... детство! Уютно жилось в крохотном домике на окраинной улице!..

Шумит лес, лицу жарко, а со спины подбирается колючий холод. Гукает во тьме филин, твякают лисицы. У костра съежился, задумчиво глядя на гаснущие, перемигивающиеся угли, голодный, больной, смертельно усталый человек, единственный в этом огромном дремучем лесу, и перед ним во тьме лежит неведомый, полный неожиданных опасностей и испытаний путь.

– Ничего, ничего, все будет хорошо! – говорит вдруг этот человек, и при последних багровых отсветах костра видно, что он улыбается растрескавшимся губами каким-то своим далеким мыслям.

9

На седьмые сутки своего похода Алексей узнал, откуда донеслись до него вьюжной ночью звуки отдаленного боя.

Совершенно уже измученный, поминутно останавливаясь, чтобы передохнуть, он тащился по оттаявшей лесной дороге. Весна теперь уже не улыбалась издали. Она вошла в этот заповедный лес со своими теплыми, порывистыми ветрами, с острыми солнечными лучами, пробивающимися сквозь ветви и смывающими снег с кочек, пригорков, с грустным вороньим граем по вечерам, с медлительными, солидными грачами на побуревшем горбе дороги, с пористым, как пчелиные соты, влажным снежком, с искристыми лужицами на проталинах, с этим могучим бражным запахом, от которого у всего живого весело кружится голова.

Алексей с детства любил эту пору, и даже теперь, волоча по лужам свои больные ноги в мокрых, раскисших унтах, голодный, теряющий сознание от боли и усталости, проклиная лужи, вязкий снег и раннюю грязь, он все же жадно вдыхал хмельной влажный аромат. Он уже не разбирал дороги, не обходил луж, спотыкался, падал, вставал, тяжело ложась на свою палку, стоял, покачиваясь и собираясь с силами, потом выбрасывал палку вперед, как можно дальше, и продолжал медленно двигаться на восток.

Вдруг у поворота лесной дороги, резко бравшей здесь влево, он остановился и застыл. Там, где дорога была особенно узка, зажата с двух сторон частым молодым леском, он увидел немецкие машины, которые обогнали его. Путь им преграждали две огромные сосны. Возле самых этих сосен, уткнувшись в них радиатором, стоял похожий на колун броневик. Только был он не пятнисто-белый, как раньше, а багрово-красный, и стоял он низко на железных ободьях, так как шины его сгорели. Башня валялась в стороне, на снегу под деревом, как диковинный гриб. Возле броневика лежали три трупа – его экипаж – в черных замасленных коротких тужурках и матерчатых шлемах.

Два вездехода, тоже сожженные, багровые, с черными, обугленными внутренностями, стояли впритык к броневiku на темном от гари, пепла и угольев обтаявшем снегу. А вокруг – на обочинах дороги, в придорожных кустах, в кюветах – валялись тела немецких солдат, и по ним было видно, что разбегались солдаты в ужасе, даже не понимая хорошенько, что же произошло, что смерть стерегла их за каждым деревом, за каждым кустом, скрытая снежной пеленой вьюги. К дереву был привязан труп офицера в мундире, но без штанов. К зеленому его френчу с темным воротником приколоты были записка. «За чем пойдешь, то и найдешь» – написано было на ней. И ниже, другим почерком, чернильным карандашом было добавлено крупно выведенное слово «собака».

Алексей долго осматривал место побоища, ища чего-нибудь съестного. Только в одном месте обнаружил он втоптаный в снег, уже поклеванный, старый, заплесневелый сухарь и поднес его ко рту, жадно вдыхая кислый запах ржаного хлеба. Хотелось втиснуть этот сухарь целиком в рот и жевать, жевать, жевать ароматную хлебную массу. Но Алексей разделил его на три части; две убрал поглубже в набедренный карман, а одну стал щипать на крошки и крошки эти сосать, как леденцы, стараясь растянуть удовольствие.

Он обошел еще раз поле боя. Тут его осенила мысль: партизаны должны быть где-то здесь, поблизости! Ведь это их ногами истоптан жухлый снег в кустах и вокруг деревьев. Может быть, его, бродящего меж трупов, уже заметил и откуда-нибудь с вершины ели, из-за кустов, из-за сугробов наблюдает за ним партизанский разведчик. Алексей приложил руки ко рту и закричал что есть мочи:

– Ого-го! Партизаны! Партизаны!

Его удивило, как вяло и тихо звучит его голос. Даже эхо, отзывавшееся ему из лесной чащи и возвращавшее его крик обратно дробно отраженным от древесных стволов, казалось громче.

– Партизаны! Партиза-ны-ы-ы! Эге-е-й! – звал Алексей, сидя на снегу среди черной машинной гари и молчаливых вражеских тел.

Звал и напрягал слух. Он охрип, сорвал голос. Он уже понял, что партизаны, сделав свое дело, собрав трофеи, давно ушли, – да и зачем им было оставаться в безлюдной лесной чаще? – но он все кричал, надеясь на чудо, на то, что сейчас вот выйдут из кустов бородатые люди, о которых он столько слышал, подберут его, унесут с собой, и можно будет хоть день, хоть час отдохнуть, подчиняясь чужой доброй воле, ни о чем не заботясь, никуда не стремясь.

Только лес отвечал ему звучным и дробным эхом. И вдруг – или это, может быть, показалось от большого напряжения? – Алексей услышал сквозь мелодичный, глубокий шум хвои глухие и частые, то отчетливо различимые, то совсем затухавшие удары. Он весь встрепенулся, точно издали донесся до него в лесную пустыню дружеский зов. Но он не поверил слуху и долго сидел, вытянув шею.

Нет, он не обманывался. Влажный ветер потянул с востока и опять донес отчетливо различимые теперь звуки канонады. И канонада эта была не ленивая и редкая, какая слышалась последние месяцы, когда войска, окопавшись и укрепившись на прочной линии обороны, неторопливо перебрасывались снарядами, беспокоя друг друга. Она звучала часто и напряженно, будто кто-то ворочал тяжелые булыжники или принимался часто бить кулаками в днище дубовой бочки.

Ясно! Напряженная артиллерийская дуэль. Линия фронта, судя по звуку, была километрах в десяти, что-то на ней происходило, кто-то наступал и кто-то отчаянно отстреливался, обороняясь. Радостные слезы текли по щекам Алексея.

Он смотрел на восток. Правда, в этом месте дорога круто сворачивала в противоположную сторону, а перед ним лежала снежная пелена. Но оттуда слышал он этот зовущий звук. Туда вели темневшие в снегу продолговатые ямки партизанских следов, где-то в этом лесу жили они, отважные лесные люди.

Бормоча себе под нос: «Ничего, ничего, товарищи, все будет хорошо», – Алексей смело ткнул палку в снег, оперся на нее подбородком, перебросил на нее всю тяжесть тела, с трудом, но решительно переставил ноги в сугроб. Он свернул с дороги на снежную целину.

10

В этот день ему не удалось сделать по снегу и полутораста шагов. Сумерки остановили его. Он опять облюбовал старый пенё, обложил его сушняком, достал заветную зажигалку, сделанную из патрона, чиркнул колесиком, чиркнул еще раз – и похолодел: в зажигалке кончился бензин. Он тряс ее, дул, стараясь выжать остатки бензиновых паров, но тщетно. Стемнело. Искры, сыпавшиеся из-под колесика, как маленькие молнии, на мгновение раздвигали мрак вокруг его лица. Камешек истерся, а огня так и не удалось добыть.

Пришлось на ощупь доползти до молоденького густого соснячка, свернуться клубком, сунуть подбородок в колени, охватить их кольцом рук и так замереть, слушая лесные шорохи. Может быть, в эту ночь Алексея охватило бы отчаяние. Но в спящем лесу звуки канонады раздавались отчетливей, ему казалось, что он даже начал отличать короткие удары выстрелов от глухого уханья разрывов.

Проснувшись утром с ощущением безотчетной тревоги и горя, Алексей сразу подумал: «Что же случилось? Плохой сон?» Вспомнил: зажигалка. Однако когда ласково пригревало солнце, когда все кругом – и жухлый крупитчатый снег, и стволы сосен, и самая хвоя – лоснилось и сверкало, это уже не казалось большой бедой. Хуже было другое: расцепив отекавшие руки, он почувствовал, что не может встать. Сделав несколько безуспешных попыток подняться, он сломал свою палку с рогаткой и, как куль, рухнул на землю. Повернулся на спину, чтобы дать отойти затекшим членам, и стал смотреть сквозь иглистые ветви сосенок на бездонное голубое небо, по которому торопливо плыли чистенькие, пушистые, с позолоченными кудрявыми краями облака. Тело понемногу стало отходить, но что-то случилось с ногами. Они совсем не могли стоять.

Держась за сосенку, Алексей еще раз попытался встать. Это ему наконец удалось, но как только он попробовал подтянуть ноги к деревцу – тотчас же упал от слабости и от какой-то страшной, новой, зудящей боли в ступнях.

Неужели все? Неужели так и придется погибнуть вот здесь, под соснами, где, может быть, никто никогда не найдет и не похоронит его обглоданных зверьем костей? Слабость неодолимо прижимала к земле. Но вдали гремела канонада. Там шел бой, там были свои. Неужели он не найдет в себе сил, чтобы одолеть эти последние восемь-десять километров?

Канонада притягивала, бодрила, настойчиво звала его, и он ответил на этот зов. Он поднялся на четвереньки и по-звериному пополз на восток, пополз сначала безотчетно, загибно-тизированный звуками далекого боя, а потом уже сознательно, поняв, что так передвигаться по лесу проще, чем с помощью палки, что меньше болят ступни, не несущие теперь никакой тяжести, что, ползя по-звериному, он сможет двигаться гораздо быстрее. И опять он ощутил, как от радости поднимается в груди и подкатывает к горлу клубок. Точно не себе, а убеждая кого-то другого, кто слаб духом и сомневался в успехе такого невероятного передвижения, он сказал вслух:

– Ничего, уважаемый, теперь-то уж все будет в порядке!

После одного из перегонов он отогрел ооченевшие кисти, зажав их под мышками, подполз к молодой ели, вырезал из нее квадратные куски коры, затем, ломая ногти, отодрал от березы несколько длинных белых лычек. Вынул из унтов куски шерстяного шарфа, обмотал ими руки сверху, с тыльной стороны ладони, положил в виде подошвы кору, привязал ее берестой и прикрутил бинтами из индивидуальных пакетов. На правой руке получилась очень удобная и широкая култышка. На левой же, где привязывать приходилось уже зубами, сооружение оказалось менее удачным. Но руки были теперь «обуты», и Алексей пополз дальше, чуя, что двигаться стало легче. На следующем привале привязал по куску коры и к коленям.

К полудню, когда стало заметно пригревать, Алексей сделал уже изрядное число «шагов» руками. Канонада, вследствие ли того, что он приблизился к ней, или в результате какого-то акустического обмана, звучала сильнее. Было так тепло, что ему пришлось опустить «молнию» комбинезона и расстегнуться.

Когда он переползал моховое болотце с зелеными кочками, вытяжавшими из-под снега, судьба приготовила ему еще подарок; на седоватом сыром и мягком мху увидел он тоненькие ниточки стебельков с редкими, острыми, полированными листочками, и между ними, прямо на поверхности кочек, лежали багровые, чуть помятые, но все еще сочные ягоды клюквы. Алексей наклонился к кочке и прямо губами стал снимать с бархатистого, теплого, пахнущего болотной сыростью мха одну ягоду за другой.

От приятной, сладковатой кислоты подснежной клюквы, от этой первой настоящей пищи, которую он ел за последние дни, в желудке у него сделались спазмы. Но не хватило силы воли переждать острую, режущую боль. Он елозил по кочкам и, уже приноровившись, как медведь, языком и губами собирал кисло-сладкие ароматные ягоды. Он очистил так несколько кочек, не чувствуя ни льдистой сырости внешней воды, хлюпавшей в унтах, ни жгучей боли в ногах, ни усталости – ничего, кроме ощущения сладковатой и терпкой кислоты во рту и приятной тяжести в желудке.

Его стошнило. Но удержаться он не мог и снова принялся за ягоды. Он снял с рук самодельную обувь, набрал ягод в банку, набил ими шлем, привязал его тесемками к ремню и пополз дальше, с трудом преодолевая тяжелую дрему, наполнившую весь его организм.

На ночь, забравшись под шатер старой ели, он поел ягод, пожевал коры и семечек из еловых шишек. Заснул он сторожим, тревожным сном. Несколько раз казалось, что кто-то в темноте бесшумно подкрадывается к нему. Он открывал глаза, настораживался так, что начинало звенеть в ушах, выхватывал пистолет и сидел, окаменев, вздрагивая от звука упавшей шишки, от шелеста подмерзшего снега, от тихого журчания маленьких подснежных ручейков.

Только под утро каменный сон сломил его. Когда совсем рассвело, вокруг дерева, под которым он спал, он увидел мелкие кружевные следы лисьих лап, и меж ними виднелся на снегу продолговатый следок волочившегося хвоста.

Так вот кто не давал ему спать! По следам было видно, что лиса ходила вокруг и около, присаживалась и снова ходила. Нехорошая мысль мелькнула у Алексея. Охотники говорят, что этот хитрый зверь чувствует человеческую смерть и начинает преследовать обреченного. Неужели это предчувствие и привязало к нему трусливого хищника?

«Чепуха, какая чепуха! Все будет хорошо...» – подбодрил он себя и пополз, пополз, стараясь поскорее уйти от этого места.

В тот день ему опять повезло. В пахучем кусте можжевельника, с которого он обрывал губами сизые, матовые ягоды, увидел он какой-то странный комок палого листа. Он тронул рукой – комок был тяжелый и не рассыпался. Тогда он стал обрывать листья и накололся на торчавшие сквозь них иглы. Он догадался: ежик. Большой старый еж, забираясь в чашу куста на зимовку, для тепла накатал на себя палых осенних листьев. Безумная радость овладела Алексеем. Весь свой скорбный путь мечтал он убить зверя или птицу. Сколько раз вынимал он пистолет и прицеливался то в сороку, то в сойку, то в зайца и всякий раз с трудом превозмогал желание выстрелить. В пистолете оставалось только три патрона: два для врага, один, в случае надобности, для себя. Он заставлял себя убирать пистолет. Он не имел права рисковать. А тут кусок мяса сам попал к нему в руки. Ни минуты не задумываясь над тем, что ежи считаются, по поверью, животными погаными, он быстро сорвал со зверька чешую листьев. Еж не просыпался, не разворачивался и походил на смешной, ошетилившийся иглами огромный боб. Ударом кинжала Алексей убил ежа, развернул его, неумело содрал желтую шкурку на брюшке и иглистый панцирь, рассек на части и с наслаждением стал рвать зубами еще

теплое, сизое, жилистое мясо, плотно приросшее к костям. Еж был съеден сразу, без остатка. Алексей разгрыз и проглотил все мелкие кости и только после этого ощутил во рту противный запах псины. Но что значит этот запах по сравнению с полным желудком, от которого по всему организму разливались сытость, теплота и дрема!

Он еще раз осмотрел, обсосал каждую косточку и прилег на снег, наслаждаясь теплом и покоем. Он, может быть, даже заснул бы, если бы его не разбудил раздавшийся из кустов осторожный брех лисицы. Алексей насторожился, и вдруг сквозь глухой гул оружейной канонады, все время слышной с востока, различил он короткие трески пулеметных очередей.

Сразу стряхнув усталость, забыв про лису, про отдых, он снова пополз вперед, в глубь леса.

11

За болотцем, которое он переполз, открылась поляна, пересеченная старой изгородью из посеревших от ветров жердей, лыком и ивовыми вязками прикрученных к вбитым в землю кольям.

Между двумя рядами изгороди кое-где проглядывала из-под снега колея заброшенной, нехоженой дороги. Значит, где-то недалеко жилье! Сердце Алексея тревожно забилося. Вряд ли немцы заберутся в такую глушь. А если и так, там все же есть и свои, а они, конечно, спрячут, укроют раненого и помогут ему.

Чувствуя близкий конец скитаний, Алексей пополз, не жалея сил, не отдыхая. Он полз, задыхаясь, падая лицом в снег, теряя сознание от напряжения, полз, торопясь скорее добраться до гребня пригорка, с которого, наверно, должна быть видна спасительная деревня. Стремясь из последних сил к жилью, он не замечал, что, кроме этой изгороди да колеи, все отчетливее и отчетливее проступавшей из-под талого снега, ничто не говорит о близости человека.

Вот наконец и вершина земляного горба. Алексей, еле переводя дыхание и судорожно глотая воздух, поднял глаза. Поднял и тотчас же опустил – таким страшным показалось ему то, что открылось перед ним.

Несомненно, еще недавно это было небольшой лесной деревенькой. Очертания ее без труда угадывались по двум неровным рядам печных труб, торчавших над замеченными снегом буграми пожарищ. Кое-где сохранились палисадники, плетни, метелки рябин, стоявших когда-то у окошек. Теперь они торчали из снега, обгорелые, убитые жаром. Это было пустое снежное поле, на котором, как пни сведенного леса, торчали трубы и посреди – совсем уже нелепый – возвышался колодезный журавль с деревянной, позеленевшей, обитой по краям железом бадьей, медленно раскачиваемой ветром на ржавой цепи. Да еще на въезде в деревню около огороженного зеленым забором сада возвышалась кокетливая арочка, на которой тихо покачивалась и поскрипывала ржавыми петлями калитка.

И ни души, ни звука, ни дымка... Пустыня. Как будто и не жил здесь никогда человек. Заяц, которого Алексей спугнул в кустах, побежал от него, смешно подбрасывая зад, прямо в деревню, остановился, встал столбиком, подняв передние лапки и оттопырив ухо, постоял у калитки и, видя, что какое-то непонятное большое и странное существо продолжает ползти по его следу, поскакал дальше, вдоль обгорелых пустых палисадников.

Алексей продолжал машинально двигаться вперед. Крупные слезы ползли по его небритым щекам и падали на снег. Он остановился у калитки, где минуту назад стоял заяц. Над ней сохранился кусок доски и буквы на нем: «Детс...» Нетрудно было представить, что за этим вот зеленым заборчиком возвышалась хорошенькая постройка детского сада. Сохранились еще и маленькие скамейки, которые обстругал и выскоблил стеклышком заботливый деревенский столяр. Алексей оттолкнул калитку, подполз к скамеечке и хотел сесть. Но тело его уже привыкло к горизонтальному положению. Когда он сел, заломило позвоночник. И чтобы насладиться отдыхом, он лег на снегу, полусвернувшись, как это делает усталый зверь.

В сердце его накалилась тоска.

У скамейки снег оттаял. Земля чернела, и над ней, заметно для глаза колеблясь и перебиваясь, поднималась теплая влага. Алексей взял в горсть теплую, оттаявшую землю. Она маслянисто прожималась между пальцами, пахла навозом и сыростью, пахла коровником и жильем.

Вот жили люди... Отвоевали когда-то, в стародавние времена, у Черного леса этот клочок скудной серой земли. Раздирали ее сохой, царапали деревянной бороной, холили, удоб-

ряли. Жили трудно, в вечной борьбе с лесом, со зверем, с думами о том, как дотянуть до нового урожая. В советское время организовали колхоз, появилась мечта о лучшей жизни, появились машины, завелся достаток. Деревенские плотники построили детский сад. И, наблюдая через вот этот зеленый заборчик, как возится здесь румяная детвора, мужики по вечерам, может, думали уже: а не собраться ли с силами, не срубить ли читальню и клуб, где можно было бы в тепле и покое, под вой метели посидеть зимний вечерок; не засветит ли здесь, в лесной глуши, электричество... И вот – ничего, пустыня, лес, вековая, ничем не нарушаемая тишина...

Чем больше Алексей раздумывал, тем острее работала его усталая мысль. Он видел Камышин, маленький пыльный городок в сухой и плоской степи у Волги. Летом и осенью городок обдували острые степные ветры. Они несли с собой тучи пыли и песка. Он колот лица, руки, он задувал в дома, просачивался в закрытые окна, слепил глаза, хрустел на зубах. Эти тучи песка, приносимые из степи, называли «камышинский дождик», и многие поколения камышинцев жили мечтой остановить пески, вволю подышать чистым воздухом. Но только в социалистическом государстве сбылась их мечта: люди договорились и вместе начали борьбу с ветрами и песком. По субботам весь город выходил на улицу с лопатами, топорами, ломami. На пустой площади появился парк, вдоль маленьких улиц выстроились аллеи тоненьких топольков. Их бережно поливали и подстригали, как будто это были не городские деревья, а цветы на собственном подоконнике. И Алексей помнил, как весь город, от мала до велика, ликовал по веснам, когда голые тонкие прутьики давали молодые побеги и одевались в зелень... И вдруг он живо представил себе немцев на улицах родного Камышина. Они жгут костры из этих деревьев, с такой любовью выращенных камышинцами. Окутан дымом родной городок, и на месте, где был домик, в котором вырос Алексей, где жила его мать, торчит вот такая закоптелая и уродливая труба.

В сердце его наikipала тягучая и жуткая тоска.

Не пускать, не пускать их дальше! Драться, драться с ними, пока есть силы, как тот русский солдат, что лежит на лесной поляне на горах вражеских тел.

Солнце коснулось уже сизых зубцов леса.

Алексей полз там, где когда-то была деревенская улица. Тяжелым трупным запахом несло от пожарищ. Деревня казалась более безлюдной, чем глухая, безлюдная чаща. Вдруг какой-то посторонний шум заставил его насторожиться. У крайнего пепелища он увидел собаку. Это была дворняга, длинношерстая, вислоухая, обычный этакий Бобик или Жучка. Тихо урча, она трепала кусок вялого мяса, зажав его в лапах. При виде Алексея этот пес, которому полагалось быть добродушнейшим существом, предметом постоянной воркотни хозяек и любимцем мальчишек, вдруг зарычал и оскалил зубы. В глазах его загорелся такой свирепый огонь, что Алексей почувствовал, как шевельнулись у него волосы. Он сбросил с руки обувку и полез в карман за пистолетом. Несколько мгновений они – человек и этот пес, ставший уже зверем, – упорно вглядывались друг в друга. Потом у пса шевельнулись, должно быть, воспоминания, он опустил морду, виновато замахал хвостом, забрал свою добычу и, поджав зад, убрался за черный холмик пожарища.

Нет, прочь, скорее прочь отсюда! Используя последние минуты светлого времени, Алексей, не разбирая дороги, прямо по целине, пополз в лес, почти инстинктивно стремясь туда, где теперь уже совсем ясно были различимы звуки канонады. Она, как магнит, с нарастающей по мере приближения силой тянула его к себе.

12

Так полз он еще день, два или три... Счет времени он потерял, все слилось в одну сплошную цепь автоматических усилий. Порой не то дрема, не то забытие овладевали им. Он засыпал на ходу, но сила, тянувшая его на восток, была так велика, что и в состоянии забытия он продолжал медленно ползти, пока не натыкался на дерево или куст или не оступалась рука и он падал лицом в талый снег. Вся его воля, все неясные его мысли, как в фокусе, были сосредоточены в одной маленькой точке: ползти, двигаться, двигаться вперед во что бы то ни стало.

На пути своем он жадно оглядывал каждый куст, но больше ежей не попадалось. Питался подснежными ягодами, сосал мох. Однажды встретила ему большая муравьиная куча. Она возвышалась в лесу, как ровный, очесанный и омытый дождями стожок сена. Муравьи еще не проснулись, и обиталище их казалось мертвым. Но Алексей сунул руку в этот рыхлый стог, и, когда вынул ее, она была усеяна муравьиными тельцами, крепко впившимися ему в кожу. И он стал есть этих муравьев, с наслаждением ощущая в сухом, потрескавшемся рту пряный и терпкий вкус муравьиной кислоты. Он снова и снова совал руку в муравьиную кучку, пока весь муравейник не ожил, разбуженный неожиданным вторжением.

Маленькие насекомые яростно защищались. Они искусили Алексею руку, губы, язык, они забрались под комбинезон и жалили тело, но эти ожоги были ему даже приятны. Острый вкус муравьиной кислоты подбодрил его. Захотелось пить. Между кочками Алексей заметил небольшую лужицу бурой лесной воды и наклонился над ней. Наклонился – и тотчас же отпрянул: из темного водного зеркала на фоне голубого неба смотрело на него страшное, незнакомое лицо. Оно напоминало обтянутый темной кожей череп, обросший неопрятной, уже курчавившейся щетиной. Из темных впадин смотрели большие, круглые, дико блестящие глаза, свалившиеся волосы сосульками падали на лоб.

«Неужели это я?» – подумал Алексей и, страхась снова наклониться над водой, не стал пить, поел снега и пополз прочь, на восток, притягиваемый все тем же могучим магнитом.

Ночевать он забрался в большую бомбовую воронку, окруженную желтым бруствером выброшенного взрывом песка. На дне ее было тихо и уютно. Ветер не залетал сюда и только шуршал сдуваемыми вниз песчинками. Звезды же снизу казались необычайно яркими, и мнилось – висят они невысоко над головой, а мохнатая ветка сосны, покачивавшаяся под ними, казалась рукой, которая тряпкой все время вытирала и чистила эти сверкающие огоньки. Под утро похолодало. Сырая изморозь повисла над лесом, ветер переменял направление и потянул с севера, превращая эту изморозь в лед. Когда тусклый запоздалый рассвет пробился наконец сквозь ветви деревьев, густой туман осел и понемногу растаял, все кругом оказалось покрытым скользкой ледяной коркой, а ветка сосны над воронкой казалась уже не рукой, держащей тряпку, а причудливой хрустальной люстрой с мелкими подвесками. Подвески эти тихо и холодно звенели, когда ветер встряхивал ее.

За эту ночь Алексей как-то особенно ослаб. Он даже не стал жевать сосновую кору, запас которой нес за пазухой. С трудом оторвался он от земли, точно тело приклеилось к ней за ночь. Не стряхивая с комбинезона, с бороды и усов намерзшего на них ледка, он стал карабкаться на стенку воронки. Но руки бессильно скользили по обледеневшему за ночь песку. Снова и снова пытался он вылезти, снова и снова соскальзывал на дно воронки. Раз от разу попытки его становились слабее. Наконец он с ужасом убедился, что без посторонней помощи ему не выбраться. Эта мысль еще раз заставила его карабкаться по скользкой стенке. Он сделал только несколько движений и соскользнул, обессиленный и немощный.

«Все! Теперь все равно!»

Он свернулся на дне воронки, ощущая во всем теле тот страшный покой, который разманичивает волю и парализует ее. Вялым движением он достал из кармана гимнастерки истертые письма, но читать их не было силы. Вынул обернутую в целлофан фотографию девушки в пестром платье, сидевшей в траве цветущего луга. Серьезно и грустно улыбаясь, спросил он ее:

– Неужели прощай? – И вдруг вздрогнул и застыл с фотографией в руке: где-то высоко над лесом в холодном, промозглом воздухе померещился ему знакомый звук.

Он сразу очнулся от тягучей дремы. Ничего особенного не было в этом звуке. Он был так слаб, что даже чуткое ухо зверя не отличило бы его от ровного шороха обледенелых древесных вершин. Но Алексей слышал его все отчетливей. По особым, свистящим нотам он безошибочно угадал, что летит «ишачок», на каком летал и он.

Рокот мотора приближался, нарастал, переходя то в свист, то в стон, когда самолет поворачивался в воздухе, и вот наконец высоко в сером небе появился крохотный, медленно движущийся крестик, то таявший, то снова выплывавший из серой дымки облаков. Вот видны уже красные звезды на его крыльях, вот над самой головой Алексея, сверкнув на солнце плоскостями, он сделал мертвую петлю и, повернув, стал уходить назад. Скоро рокот его стих, утонув в шуме обледенелого, нежно гремевшего под ветром ветками леса, но Алексею долго еще казалось, что он слышит этот свистящий, тонкий звук.

Он представил себя в кабине. За одно мгновение, в которое человек не успел бы даже выкурить папиросу, он был бы на родном лесном аэродроме. Кто же летел? Может быть, Андрей Дегтяренко вышел на утреннюю разведку? Он любит во время разведки забираться ввысь в тайной надежде встретить противника... Дегтяренко... Машина... ребята...

Ощувив в себе новый прилив энергии, Алексей оглядел обледеневшие стенки воронки. Ну да! Так не вылезешь. Но не лежать же на боку и ждать смерти! Он вытащил из ножен кинжал и вялыми, слабыми ударами принялся рубить ледяную корку, выгребать ногтями смерзшийся песок, делать ступеньки. Он обломал ногти, окровавил пальцы, но орудовал ножом и ногтями все упрямее. Потом, опираясь коленями и руками на эти ступеньки-ямки, он стал медленно подниматься. Ему удалось добраться до бруствера. Еще усилие – лечь на него, перевалиться. Но ноги соскользнули, и, больно ударившись лицом об лед, он покатился вниз. Он крепко ушибся. Но рокот мотора еще стоял у него в ушах. Он снова стал карабкаться и снова соскользнул. Тогда, критически осмотрев свою работу, он принялся углублять ступеньки, сделал края верхних более острыми и опять полез, осторожно напрягая силы все слабеего тела.

С большим трудом он перевалился через песчаный бруствер, бессильно скатился с него. И пополз туда, куда ушел самолет и откуда, разгоняя туман-снегоед и сверкая в хрустале гололедицы, поднималось над лесом солнце.

14

Но ползти было совсем трудно. Руки дрожали и, не выдерживая тяжести тела, подламывались. Несколько раз он ткнулся лицом в талый снег. Казалось, земля во много раз увеличивала свою силу притяжения. Невозможно было преодолевать ее. Неудержимо хотелось лечь и отдохнуть хоть немного, хоть полчаса. Но сегодня Алексея неистово тянуло вперед. И, преодолевая вяжущую усталость, он все полз и полз, падал, поднимался и снова полз, не ощущая ни боли, ни голода, ничего не видя и не слыша, кроме звуков канонады и перестрелки.

Когда руки перестали держать, он попробовал ползти на локтях. Это было очень неудобно. Тогда он лег и, отталкиваясь от снега локтями, попробовал катиться. Это удалось. Перекатываться с боку на бок было легче, не требовалось больших усилий. Только очень кружилась голова, поминутно уплывало сознание, и часто приходилось останавливаться и садиться на снег, выжидая, пока прекратится круговое движение земли, леса, неба.

Лес стал редким, местами просвечивал плешинами вырубок. На снегу виднелись полосы зимних дорог. Алексей уже не думал о том, удастся ли ему добраться до своих, но он знал, что будет ползти, катиться, пока тело его в состоянии двигаться. Когда от этой страшной работы всех его ослабевших мышц он на мгновение терял сознание, руки и все его тело продолжали делать те же сложные движения, и он катился по снегу – на звук канонады, на восток.

Алексей не помнил, как провел он эту ночь и много ли еще прополз утром. Все тонуло во мраке мучительного полузабытья. Смутно вспоминались только преграды, стоявшие на пути его движения: золотой ствол срубленной сосны, истекающий янтарной смолой, штабель бревен, опилки и стружки, валявшиеся повсюду, какой-то пенек с отчетливыми кольцами годичных слоев на срезе...

Посторонний звук вывел его из полузабытья, вернул ему сознание, заставил сесть и оглядеться. Он увидел себя посреди большой лесной вырубки, залитой солнечными лучами, заваленной срубленными и неразработанными деревьями, бревнами, уставленной штабелями дров. Полуденное солнце стояло над головой, густо пахло смолой, разогретой хвоей, снежной сыростью, и где-то высоко над не оттаявшей еще землей звенел, заливался, захлебываясь в собственной своей немудреной песенке, жаворонок.

Полный ощущения неопределенной опасности, Алексей оглядел лесосеку. Вырубка была свежая, незапущенная, хвоя на неразделанных деревьях не успела еще повянуть и пожелтеть, медовая смола капала со срезов, пахло свежими щепками и сырой корой, валявшимися повсюду. Значит, лесосека жила. Может быть, немцы заготавливают здесь лес для блиндажей и укреплений. Тогда нужно поскорее убираться. Лесорубы могут вот-вот прийти. Но тело точно окаменело, скованное чуждой болью, и нет сил двигаться.

Продолжать ползти? Но инстинкт, выработавшийся в нем за дни лесной жизни, настаивал на этом. Он не видел, нет, он по-звериному чувствовал, что кто-то внимательно и неотрывно следит за ним. Кто? Лес тих, звенит над выружкой жаворонок, глухо долбят дятлы, сердито перепискиваются синички, стремительно перепархивая в поникших ветвях рубленых сосен. И все же всем существом своим Алексей чувствовал, что за ним следят.

Треснула ветка. Он оглянулся и увидел в сизых клубках молодого частого соснячка, согласно кивавшего ветру курчавыми вершинами, несколько ветвей, которые жили какой-то особой жизнью и вздрагивали не в такт общему движению. И почудилось Алексею, что оттуда доносился тихий, взволнованный шепот – человеческий шепот. Снова, как тогда, при встрече с собакой, почувствовал Алексей, как шевельнулись волосы.

Он выхватил из-за пазухи заржавевший, запылившийся пистолет и принужден был взводить курок усилиями обеих рук. Когда курок щелкнул, в сосенках точно кто-то отпрянул. Несколько деревцев передернули вершинами, как будто за них задели, и вновь все стихло.

«Что это: зверь, человек?» – подумал Алексей, и ему показалось – в кустах кто-то тоже вопросительно сказал: «Человек?» Показалось или действительно там, в кустах, кто-то говорит по-русски? Ну да, именно по-русски. И оттого, что говорили по-русски, он почувствовал вдруг такую сумасшедшую радость, что, совершенно не задумываясь над тем, кто там – друг или враг, издал торжествующий вопль, вскочил на ноги, всем телом рванулся вперед на голос и тут же со стоном упал как подрубленный, уронив в снег пистолет...

14

Свалившись после неудачной попытки встать, Алексей на мгновение потерял сознание, но то же ощущение близкой опасности привело его в себя. Несомненно, в сосняке скрывались люди, они наблюдали за ним и о чем-то перешептывались.

Он приподнялся на руках, поднял со снега пистолет и, незаметно держа его у земли, стал наблюдать. Опасность вернула его из полузабытья. Сознание работало четко. Кто они были? Может быть, лесорубы, которых немцы гоняют сюда на заготовку дров? Может, русские, такие же, как и он, окруженцы, пробирающиеся из немецких тылов через линию фронта к своим? Или кто-нибудь из местных крестьян? Ведь слышал же он, как кто-то отчетливо вскрикнул: «Человек?»

Пистолет дрожал в его руке, одревеневшей от ползанья. Но Алексей приготовился бороться и хорошо израсходовать оставшиеся три патрона...

В это время из кустов раздался взволнованный детский голос:

– Эй, ты кто? Дойч? Ферштеешь?

Эти странные слова насторожили Алексея, но кричал, несомненно, русский, и, несомненно, ребенок.

– Ты что тут делаешь? – спросил другой детский голос.

– А вы кто? – ответил Алексей и смолк, пораженный тем, как немошен и тих был его голос.

За кустами его вопрос произвел переполох. Там долго шептались, жестикулируя так, что метались веточки сосняка.

– Ты нам шарики не крути, не обманешь! Я немца за пять верст по духу узнаю. Ты есть дойч?

– А вы кто?

– А тебе почто знать? Не ферштею...

– Я русский.

– Врешь... Лопни глаза, врешь: фриц!

– Я русский, русский, я летчик, меня немцы сбили.

Теперь Алексей не осторожничал. Он убедился, что за кустами – свои, русские, советские. Они не верят ему, – что ж, война учит осторожности. Впервые за весь свой путь он почувствовал, что совершенно ослаб, что не может уже больше шевелить ни ногой, ни рукой, ни двигаться, ни защищаться. Слезы текли по черным впадинам его щек.

– Гляди, плачет! – раздалось за кустами. – Эй, ты, чего плачешь?

– Да русский, русский я, свой, летчик...

– А с какого аэродрома?

– Да вы-то кто?

– А тебе что? Ты отвечай!

– С Мончаловского... Помогите же мне, выходите! Какого черта...

В кустах зашептались оживленнее. Теперь Алексей отчетливо слышал фразы:

– Ишь говорит – с Мончаловского... Может, верно... И плачет... Эй ты, летчик, брось наган-то! – крикнули ему. – Брось, говорю, а то не выйдем, убежим!

Алексей откинул в сторону пистолет. Кусты раздвинулись, и два мальчугана, настороженные, как любопытные синички, готовые каждую минуту сорваться и дать стрелача, осторожно, держась за руки, стали подходить к нему, причем старший, худенький, голубоглазый, с русыми пеньковыми волосами, держал в руке наготове топор, решив, должно быть, применить его при случае. За ним, прячась за его спину и выглядывая из-за нее полными

неукротимого любопытства глазами, шел меньший, рыженький, с пятнистым от веснушек лицом, шел и шептал:

– Плачет. И верно, плачет. А тощей-то, тощей-то!

Старший, подойдя к Алексею, все еще держа наготове топор, огромным отцовским валенком отбросил подальше лежащий на снегу пистолет.

– Говоришь, летчик? А документ есть? Покажь.

– Кто тут? Наши? Немцы? – шепотом, невольно улыбаясь, спросил Алексей.

– А я знаю? Мне не докладывают. Лес тут, – дипломатично ответил старший.

Пришлось лезть в гимнастерку за удостоверением. Красная командирская книжка со звездой произвела на ребят волшебное впечатление. Точно детство, утерянное в дни оккупации, вернулось к ним разом оттого, что перед ними оказался свой, родной, Красной Армии летчик.

– Свои, свои, третий день свои!

– Дяденька, ты почему такой тощей-то?

– ...Их тут наши так тряханули, так чесанули, так бабахнули! Бой тут был, страсть! Набито их ужась, ну ужась сколько!

– А удирали кто на чем... Один привязал к оглоблям корыто и в корыте едет. А то двое раненых идут, за лошадиный хвост держатся, а третий на лошади верхом, как фон-барон... Где же тебя, дяденька, сбили?

Пострекотав, ребята начали действовать. До жилья было от вырубки, по их словам, километров пять. Алексей, совсем ослабевший, не мог даже повернуться, чтобы удобнее лечь на спину. Санки, с которыми ребята пришли за ветлами на «немецкую вырубку», были слишком малы, да и не под силу было мальчикам тащить без дороги, по снежной целине, человека. Старший, которого звали Серенькой, приказал брату Федьке бежать во весь дух в деревню и звать народ, а сам остался возле Алексея караулить его, как он пояснил, от немцев, втайне же не доверяя ему и думая: «А ляд его знает, фриц хитер – и помирающим прикинется, и документик достанет...» А впрочем, понемногу опасения эти рассеялись, мальчуган разболтался.

Алексей дремал с полужакрытыми глазами на мягкой, пушистой хвое. Он слушал и не слушал его рассказ. Сквозь спокойную дрему, сразу вдруг сковавшую его тело, долетали до сознания только отдельные несвязные слова. Не вникая в их смысл, Алексей сквозь сон наслаждался звуками родной речи. Только потом узнал он историю злоключений жителей деревеньки Плавни.

Немцы пришли в эти лесные и озерные края еще в октябре, когда желтый лист пламенел на березах, а осины точно охвачены были тревожным красным огнем. Боев в районе Плавней не произошло. Километрах в тридцати западнее, уничтожив красноармейскую часть, которая полегла на укреплениях наспех построенной оборонительной линии, немецкие колонны, возглавляемые мощным танковым авангардом, миновали Плавни, спрятанные в стороне от дорог, у лесного озера, и прокатились на восток. Они стремились к большому железнодорожному узлу Бологое, чтобы, захватив его, разъединить Западный и Северо-Западный фронты. Здесь, на далеких подступах к этому городу, все летние месяцы и всю осень жители Калининской области – горожане, крестьяне, женщины, старики и подростки, люди всех возрастов и всех профессий, – день и ночь, в дождь и в зной, страдая от комаров, от болотной сырости, от дурной воды, копали и строили оборонительные рубежи. Укрепления протянулись с юга на север на сотни километров через леса, болота, по берегам озер, речушек и ручьев.

Немало горя хватило строители, но труды их не пропали даром. Немцы с ходу прорвали несколько оборонительных поясов, но на одном из последних рубежей их задержали. Бои

стали позиционными. К городу Бологое немцам прорваться так и не удалось, они вынуждены были перенести центр удара южнее, а тут перешли к обороне.

Крестьяне из деревни Плавни, подкреплявшие обычно скудный урожай своих супесчаных полей удачным рыбачеством в лесных озерах, совсем уже было обрадовались, что война миновала их. Переименовали, как этого требовали немцы, председателя колхоза в старосту и продолжали жить по-прежнему артелью, надеясь, что не вечно же оккупантам топтать советскую землю и что им, плавнинским, и в их глуши, может, и удастся пересидеть напасть. Но вслед за немцами в мундирах цвета болотной ряски приехали на машинах немцы в черном, с черепом и костями на пилотках. Жителям Плавней было предписано выставить через двадцать четыре часа пятнадцать добровольцев, желающих ехать на постоянные работы в Германию. В противном случае деревне сулили большие беды. Добровольцам явиться к крайней избе, где помещались артельный рыбный склад и правление, иметь с собой смену белья, ложку, вилку, нож и продуктов на десять дней. К положенному сроку никто не пришел. Впрочем, немцы в черном, уже, должно быть, наученные опытом, не очень на это и надеялись. Они схватили и расстреляли для острастки перед зданием правления председателя колхоза, то бишь старосту, пожилую воспитательницу из детского сада Веронику Григорьевну, двух колхозных бригадиров да человек десять крестьян, подвернувшихся им под руку. Тела не велели хоронить и заявили, что так будет со всей деревней, если через сутки добровольцы не явятся на место, названное в приказе.

Добровольцы опять не явились. А утром, когда немцы из зондеркоманды СС пошли по деревне, все избы оказались пустыми. В них не было ни души – ни старых, ни малых. Ночью, бросив свои дома, землю, все свое годами нажитое добро, почти всю скотину, люди под покровом густых в этих краях ночных туманов бесследно исчезли. Деревня вся как есть, до последнего человека, снялась и ушла в лесную глушь – за восемнадцать верст, на старую вырубку. Накопав землянок, мужчины ушли партизанить, а бабы с ребятишками остались бедовать в лесу до весны. Мятежную деревню зондеркоманда сожгла дотла, как и большинство деревень и сел в этом районе, названном немцами мертвой зоной.

– ...Батя у меня председателем колхоза был, старостой они его называли, – рассказывал Серенька, и слова его долетали до сознания Алексея точно из-за стены, – так они его убили и братеньку старшего убили, инвалид он был, без руки, руку ему на гумне отрезало. Шестнадцать человек... Я сам видел, нас всех согнали смотреть. Батя все кричал, все матерился... «Пропишут вам за нас, сукины сыны! – кричал. – Кровавой слезой, – кричал, – за нас заплачете!...»

Странное ощущение испытал летчик, слушая маленького белокурого мужичка с большими грустными, усталыми глазами. Он точно плавал в вязком тумане. Необоримая усталость крепко опутывала все его измотанное нечеловеческим напряжением тело. Он не мог шевельнуть даже пальцем и просто не представлял себе, как это он всего часа два тому назад еще передвигался.

– Так в лесу и живете? – еле слышно спросил мальчика Алексей, с трудом освобождаясь от пут дремы.

– А как же, так и живем. Трое нас теперь: мы с Федькой да матка. Сестренка была Нюшка – зимой померла, опухла и померла, и еще маленький помер, так что, выходит, нас трое... А что: немцы не воротятся, а? Дедя наш, маткин, значит, отец, он у нас сейчас за председателя, говорит, не воротятся, мертвого, говорит, с погоста не таскают. А матка все боится, все бежать хочет: а ну, говорит, опять вернутся... А вон и дедя с Федькой, глянь!

На опушке леса стоял рыженький Федька и показывал на Алексея пальцем высокому сутулому старику в рваном, из крашенной луком домотканины армяке, подвязанном веревкой, и в высоковерхой офицерской немецкой фуражке.

Старик, дедя Михайла, как называли его ребяташки, был высок, сутул, худ. У него было доброе лицо Николы-угодника немудреного сельского письма, с чистыми светлыми, детскими глазами и мягкой негустой бородкой, струистой и совершенно серебряной. Закутывая Алексея в старую баранью шубу, всю состоявшую из пестрых заплаток, без труда поднимая и перевертывая его легкое тело, он все приговаривал с наивным удивлением:

– Ах ты, грех-то какой, вовсе истощился человек! До чего дошел... Ах ты, боже ты мой, ну сущий шкилет! И что только война с людьми делает. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!

Осторожно, как новорожденного ребенка, опустил он Алексея на салазки, прикрутил к ним веревочной вожжей, подумал, стащил с себя армяк, свернул и подмости́л ему под голову. Потом вышел вперед, впрягся в маленький хомут, сделанный из мешковины, дал по веревке мальчикам, сказал: «Ну, с богом!» – и втроем они потянули салазки по талому снегу, который цеплялся за полозья, скрипел, как картофельная мука, и оседал под ногами.

15

Следующие два-три дня были окутаны для Алексея густым и жарким туманом, в котором нечетко и призрачно видел он происходящее. Действительность смешивалась с бредовыми снами, и только уже много времени спустя удалось ему восстановить истинные события во всей их последовательности.

Беглая деревня жила в вековом бору. Землянки, одетые еще снегом, прикрытые сверху хвоей, с первого взгляда трудно было даже заметить. Дым из них валил точно из земли. В день появления здесь Алексея было тихо и сыро, дым льнул ко мху, цеплялся за деревья, и Алексею показалось, что местность эта обьята затухающим лесным пожаром.

Все население – преимущественно бабы и дети да несколько стариков, – узнав, что Михайла везет из лесу неведомо откуда взявшегося советского летчика, по рассказам Федьки, похожего на «сущий шкилет», высыпало навстречу. Когда «тройка» с салазками замелькала меж древесных стволов, бабы обступили ее и, отгоняя шлепками и подзатыльниками сновавших под ногами ребятишек, так стеной и пошли, окружив сани, охая, причитая и плача. Все они были оборваны и все казались одинаково пожилыми. Копоть землянок, топившихся по-черному, не сходила с их лиц. Только по сверканью глаз, по блеску зубов, выделявшихся своей белизной на этих коричневых лицах, можно было отличить молодуху от бабки.

– Бабы, бабы, ах, бабы! Ну что собрались, ну что? Театра это вам? Спектакля? – серчал Михайла, сноровисто нажимая на свой хомутик. – Да не снуйте вы под ногами, бога ради, овцы, прости господи, полоумные!

А из толпы до Алексея доносилось:

– Ой, какой! Верно, шкилет! Не шевелится, жив ли?

– Без памяти он... Чего же это с ним? Ой, бабоньки, уж тощ, уж тощ!

Потом волна удивления схлынула. Неизвестная, но, очевидно, страшная судьба этого летчика поразила баб, и, пока сани тащились по опушке, медленно приближаясь к подземной деревне, затеялся спор: у кого жить Алексею?

– У меня землянка суха. Песок-песочек и воздух вольный... Печура у меня, – доказывала маленькая круглолицая женщина с бойко сверкавшими, как у молодого негра, белками глаз.

– «Печура»! А живет-то вас сколько? От одного духа преставишься!.. Михайла, давай ко мне, у меня три сына в красноармейцах и мучки малость осталось, я ему лепешки печь стану!

– Нет, нет, ко мне, у меня просторно, вдвоем живем, места хватит; лепешки тащи к нам: все равно ведь ему, где есть. Уж мы с Ксюхой его обиходим, у меня лец мороженный есть и грибков белых нитка... Ущицу ему, суп с грибами.

– Где ж ему ущицу, он одной ногой в гробу!.. Ко мне его, дядя Миша, у нас корова, молочко!

Но Михайла подтащил сани к своей землянке, находившейся посередине подземной деревни.

...Алексей помнит: лежит он в маленькой темной земляной норе; слегка чадя, потрескивая и роняя искры, горит воткнутая в стену лучина. В свете ее видны с нар стол, сколоченный из ящика от немецких мин и утвержденный на вкопанном в землю столбе, и чурки около него вместо табуреток, и тонкая, по-старушечьи одетая женщина в черном платке, наклонившаяся к столу, – младшая сноха деда Михайлы Варвара, и голова самого старика, повитая седыми негустыми кудрями.

Алексей лежит на полосатом тюфяке, набитом соломой. Накрыт он все той же бараньей шубой, состоящей из разноцветных заплат. От шубы приятно пахнет чем-то кислым, таким обиходным и жилым. И хотя все тело ноет, как побитое камнями, а ноги горят, точно к ступням приложены раскаленные кирпичи, приятно лежать вот так неподвижно, зная, что никто тебя не тронет, что не надо ни двигаться, ни думать, ни стеречься.

Дым от камелька, сложенного на земле в углу, стелется сизыми живыми, переливающимися слоями, и кажется Алексею, что не только этот дым, но и стол, и серебряная голова деда Михайлы, всегда чем-то занятого, что-то мастеращего, и тонкая фигура Вари – все это расплывается, колеблется, вытягивается. Алексей закрывает глаза. Открывает он их, разбуженный током холодного воздуха, пахнувшего в дверь, обитую дерматином с черным немецким орлом. У стола какая-то женщина. Она положила на стол мешочек и еще держит на нем руки, точно колеблясь, не взять ли его обратно, вздыхает и говорит Варваре:

– Манка это... С мирного времени для Костюньки берегли. Не надо ему теперь ничего, Костюньке-то. Возьмите, кашки вот постояльцу своему сварите. Она для ребятишек, кашка-то, ему как раз.

Повернувшись, она тихо уходит, овевая всех своей печалью. Кто-то приносит мороженого леща, кто-то – лепешки, испеченные на камнях камелька, распространяющие по всей землянке кислый теплый хлебный парок.

Приходят Серенька с Федькой. С крестьянской степенностью Серенька снимает в дверях с головы пилотку, говорит: «Здравствуйте вам», – кладет на стол два кусочка пиленого сахара с прилипшими к ним крошками махры и отрубей.

– Мамка прислала. Он полезный, сахар-то, ешьте, – говорит он и деловито обращается к деду: – Опять на пепелище ходили. Чугунок откопали. Два заступа не больно обгорелые, топор без топорща. Принесли, сгодится.

А Федька, выглядывая из-за брата, жадно смотрит на белеющие на столе кусочки сахара и с шумом втягивает слюну.

Только уже гораздо позже, обдумывая все это, Алексей сумел оценить приношения, которые делались ему в селении, где в эту зиму около трети жителей умерло от голода, где не было семьи, не похоронившей одного, а то и двух покойников.

– Эх, бабы, бабы, цены вам, бабы, нет! А? Слышь, Алеха, говорю – русской бабе, слышь, цены нет. Ее стоит за сердце тронуть, она последнее отдаст, головушку положит, баба-то наша. А? Не так? – приговаривал дед Михайла, принимая все эти дары для Алексея и снова берясь за какую-нибудь свою вечную работенку: за починку сбри, пошивку хомутов или подшивку протоптавшихся валенок. – И в работе, брат Алеха, она, эта самая баба, нам не сдает, а то и тю-тю! – гляди, обставит мужика-то на работе! Только язык этот бабий, ох, язык! Заморочили мне, Алеха, эти самые чертовы бабы голову, ну просто наовсе заморочили. Как Анисья-то моя померла, я, грешный человек, и подумал: «Слава те господи, поживу в тишине-покое!» Вот меня бог и наказал. Мужики-то наши, кои остались в армию непозабратые, все при немцах в партизаны подались, и остался я за великие свои грехи бабьим командиром, как козел в овечьем стаде... Ох-хо-хо!

Много такого, что глубоко поразило его, увидел Алексей в этом лесном поселении. Немцы лишили жителей Плавней домов, добра, инвентаря, скота, обиходной рухляди, одежды – всего, что нажито было трудом поколений; жили люди теперь в лесу, терпели великие бедствия, страх от ежеминутной угрозы, что немцы их откроют, голодали, мерли, – но колхоз, который передовикам в тридцатом году после полугодовой брани и споров еле-еле удалось организовать, не развалился. Наоборот, великие бедствия войны еще больше сплотили людей. Даже землянки рыли коллективно и расселились в них не по-старому, где кому пришлось, а по бригадам. Председательские обязанности взамен убитого зятя взял на себя

дед Михайла. Он свято соблюдал в лесу колхозные обычаи, и вот теперь руководимая им пещерная деревня, загнанная в чащу бора, по бригадам и звеньям готовилась к весне.

Страдающие от голода крестьянки снесли и ссыпали в общую землянку до последнего зернышка все, у кого что сохранилось после бегства. За телятами от коров, заблаговременно уведенных от немцев в лес, был установлен строжайший уход. Люди голодали, но не резали общественного скота. Рискуя поплатиться жизнью, мальчишки ходили на старые пепелища и в углях пожарища выкапывали посиневшие от жара плуги. К наиболее сохранившимся из них приделали деревянные ручки. Из мешковины мастерили ярма, чтобы с весны начать пахать на коровах. Бабы бригады ловили по нарядам в озерах рыбу, и ею всю зиму питалась деревня.

Хоть дед Михайла и ворчал на «своих баб» и зажимал уши, когда они затевали у него в землянке злые и длинные ссоры из-за каких-нибудь мало понятных Алексею хозяйственных дел, хотя и орал иной раз на них выведенный из себя дед своим фальцетом, он умел их ценить и, пользуясь покладистостью своего молчаливого слушателя, не раз принимался до небес превозносить «женское отродье»:

– Ведь ты смотри, Алеха, друг ты мой любезный, что получилось. Баба – она от веку веков за кусок обеими руками держится. А? Не так? А почему? Скупа? Нет, потому что ей дорог кусок-то, детей-то ведь она кормит, семью-то, что там ни говори, она, баба, ведет. Теперь посмотри, какое дело. Живем мы, сам видишь, как: крохи считаем. Ага, голод! А тут, значит, было это в январе, нагрянули к нам партизаны, и не наши деревенские, нет – наши-то где-то, слышь, под Ленином воюют, – а чужие, с чугулки какие-то. Ладно. Нагрянули. «С голоду помираем». И что же думаешь, на следующий день бабешки им полные сумки напихали. А у самих-то детишки вон пухлые, на ноги не поднимаются. А? Не так?.. То-то вот и оно! Кабы я был какой командир, я бы, как немцев мы прогоним, собрал бы лучшие свои войска и вывел бы наперед бабу и велел бы всем моим войскам, значит, перед ней, перед бабой русской, маршировать и честь ей отдавать, бабе-то!..

Алексей сладко дремал под старческую болтовню. Иногда, слушая старика, хотелось ему достать из кармана гимнастерки письма, фотографию девушки и показать их ему, да руки не поднимались, так был слаб. Но когда дед Михайла принимался нахваливать своих баб, казалось Алексею, что чувствует он тепло этих писем через сукно гимнастерки.

Тут же, у стола, тоже вечно занятая каким-нибудь делом, ловкая и молчаливая, трудилась по вечерам сноха деда Михайлы.

Сначала Алексей принял ее за старуху, жену деда, но потом разглядел, что ей не больше двадцати – двадцати двух лет, что она легкая, стройная, миловидная и что, глядя на Алексея как-то испуганно и тревожно, она порывисто вздыхает, точно проглатывает какой-то застрявший в горле комок. Иногда по ночам, когда лучина гасла и в дымном мраке землянки начинал задумчиво попиливать сверчок, случайно отысканный дедом Михайлой на старом пепелище и принесенный сюда в рукавице «для жилого духу» вместе с обгорелой посудой, казалось Алексею, что слышит он, как кто-то тихонько плачет на нарах, хоронясь и закусив зубами подушку.

16

На третий день гостеванья Алексея у деда Михайлы старик утром решительно сказал ему:

– Обовшивел ты, Алеха, – беда: что жук навозный. А чесаться-то тебе трудно. Вот что: баньку я тебе сооружу. Что?.. Баньку. Помою тебя, косточки попарю. Оно, с трудов-то твоих, больно хорошо, банька-то. Что? Не так?

И он принялся сооружать баню. Очаг в углу натопил так, что стали с шумом лопаться камни. Где-то на улице тоже горел костер, и на нем, как сказали Алексею, калился большой валун. Варя наносила воды в старую кадку. На полу постлали золотой соломы. Потом дед Михайла разделся по пояс, остался в одних подштанниках, быстро развел в деревянной бадье щелок, надрал из рогожи пахнущего летом мочала. Когда же в землянке стало так жарко, что с потолка начали падать тяжелые холодные капли, старик выскочил на улицу, на железном листе притащил оттуда красный от жара валун и опустил его в кадку. Целая туча пара шибанула к потолку, расплзлась по нему, переходя в белые курчавые клубы. Ничего не стало видно, и Алексей почувствовал, что его раздевают ловкие стариковы руки.

Варя помогала свекру. От жара скинула она свой ватник и головной платок. Тяжелые косы, существование которых под дырявым платком трудно было даже подозревать, развернулись и упали на плечи. И вся она, худая, большеглазая, легкая, неожиданно преобразилась из старухи богомолки в молоденькую девушку. Это преображение было так неожиданно, что Алексей, первоначально не обращавший на нее внимания, застыдился своей наготы.

– Держись, Алеха! Ау, друг, держись, такое наше дело, значит, с тобой теперь! Слышал, в Финляндии вон и вовсе, говорят, мужики с бабами в одной бане полоскаются. Что, неправда? Можя, и врут. А она, Варька-то, сейчас, значит, вроде как бы медицинская сестра при раненом воине. Да. И стыдиться ее не положено. Держи его, я рубаху сниму. Ишь погрела рубаха-то, так и ползет!

И тут увидел Алексей выражение ужаса в больших и темных глазах молодой женщины. Сквозь шевелящуюся пелену пара впервые после катастрофы увидел он свое тело. На золотой яровой соломе лежал обтянутый смуглой кожей человеческий костяк с резко выдавшимися шарами коленных чашечек, с круглым и острым тазом, с совершенно провалившимся животом, резкими полукружьями ребер.

Старик возился у шайки со щелоком. Когда же он, обмакнув мочалку в серую маслянистую жидкость, занес ее над Алексеем и разглядел его тело в жарком тумане, рука с мочалкой застыла в воздухе.

– Ах ты, беда!.. Сурьезное твое дело, брат Алеха! А? Сурьезное, говорю. От немцев-то ты, брат, значит, уполз, а от нее, косой... – И вдруг накинута на Варю, поддерживавшую Алексея сзади: – А ты что на голого человека уставилась, срамница, ну! Что губы-то кусаешь? Ух, все вы, бабы, сорочье отродье! А ты, Алексей, не думай, не думай ни о чем худом. Да мы, брат, тебя ей, косой, нипочем не отдадим. Уж мы тебя, значит, выходим, поправим, уж это верно!.. Будь здоров!

Он ловко и бережно, точно маленького, мыл Алексея щелоком, перевортывал, обдавал горячей водой, снова тер и тер с таким азартом, что руки его, скользившие по бугоркам костей, скоро заскрипели.

Варя молча помогала ему.

Но зря накричал на нее старик. Не смотрела она на это страшное, костлявое тело, бесильно свешивавшееся с ее рук. Она старалась смотреть мимо, а когда взгляд ее невольно замечал сквозь туман пара ногу или руку Алексея, в нем загорались искры ужаса. Ей начинало казаться, что это не неизвестный ей, невесть как попавший в их семью летчик, а ее

Миша, что не этого неожиданного гостя, а ее мужа, с которым прожила она всего-навсего одну весну, могучего парня с крупными и яркими веснушками на светлом безбровом лице, с огромными, сильными руками, довели немцы до такого состояния и что это его, Мишино, бессильное, порой кажущееся мертвым тело держат теперь ее руки. И ей становилось страшно, у нее начинала кружиться голова, и, только кусая губы, удерживала она себя от обморока...

...А потом Алексей лежал на полосатом тощем тюфяке в длинной, вкривь и вкось заштопанной, но чистой и мягкой рубашке деда Михайлы, с ощущением свежести и бодрости во всем теле. После баньки, когда пар вытянуло из землянки через волоковое оконце, проделанное в потолке над очагом, Варя напоила его брусничным, припахивавшим дымком чаем. Он пил его с крошками тех самых двух кусочков сахара, которые принесли ему ребяташки и которые Варя мелко-мелко накрошила для него на беленькую берестичку. Потом он заснул – в первый раз крепко, без снов.

Разбудил его громкий разговор. В землянке было почти темно, лучина еле тлела. В этом дымном мраке дребезжал резкий тенорок деда Михайлы:

– Бабий ум, где у тебя соображение? Человек одиннадцать ден во рту просяного зернышка не держал, а ты вкрутую... Да эти самые крутые яйца – ему смерть!.. – Вдруг голос деда стал просительным: – Ему бы не яиц сейчас, ему бы сейчас, знаешь, что, Василиса, ему бы сейчас куриного супчику похлебать! О! Вот ему что надо. Это бы его сейчас к жизни подбодрило. Вот Партизаночку бы твою, а?..

Но старушечий голос, резкий и неприятный, с испугом перебил:

– Не дам! Не дам и не дам, и не проси, черт ты старый! Ишь! И говорить об этом не смей. Чтобы я Партизаночку мою... Супчику похлебать... Супчику! Вон и так эва сколько натащили всего, чисто на свадьбу! Придумал тоже!

– Эх, Василиса, совестно тебе, Василиса, за такие твои бабьи слова! – задребезжал тенорок старика. – У самой двое на фронте, и такие у тебя бестолковые понятия! Человек, можно сказать, за нас вовсе покалечился, кровь пролил...

– Не надо мне его крови. За меня мои проливают. И не проси, сказано – не дам, и не дам!

Темный старушечий силуэт скользнул к выходу, и в распахнувшуюся дверь ворвалась такая яркая полоса весеннего дня, что Алексей невольно зажмурился и застонал, ослепленный. Старик кинулся к нему:

– Ай ты не спал, Алеха? А? Ай слышал разговор? Слышал? Только ты ее, Алеха, не суди; не суди, друг, слова-то ее. Слова – они что шелуха, а ядрышко в ней хорошее. Думаешь, курицы она для тебя пожалела? И-и, нет, Алеша! Всю семью ихнюю – а семья была большущая, душ десять, – немец перевел. Полковником у нее старший-то. Вот дознались, что полковникова семья, всех их, окромя Василисы, в одночасье в ров. И хозяйство все порушили. И-их, большая это беда – в ее-то годы без роду-племени остаться! От хозяйства от всего оказалась у ней одна курица, значит. Хитрая курица, Алеша! Еще в первую неделю немцы всех курей-уток переловили, потому для немца птица – первое лакомство. Все – «курка, матка, курка!». Ну, а эта спаслась. Ну просто артист, а не курица! Бывало, немец – во двор, а она – на чердак и сидит там, будто ее и нет. А свой войдет – ничего, гуляет. Шут ее знает, как она узнавала. И осталась она одна, курица эта, на всю нашу деревню, и вот за хитрость за ее вот эту самую Партизанкой мы ее и окрестили.

Мересьев дремал с открытыми глазами. Так привык он в лесу. Деда Михайлу молчание его, должно быть, беспокоило. Посуетившись по землянке, что-то поделав у стола, он опять вернулся к этой теме:

– Не суди, Алеха, бабу-то! Ты, друг любезный, в то вникни: была она как старая береза в большом лесу, на нее ниоткель не дуло, а теперь торчит, как трухлявый пенек на вырубке, и одна ей утеха – эта самая курица. Чего молчишь-то, ай заснул?.. Ну, спи себе, спи.

Алексей спал и не спал. Он лежал под полушубком, дышавшим на него кислым запахом хлеба, запахом старого крестьянского жилья, слушал успокаивающее пиликанье сверчка, и не хотелось ему шевелить хотя бы пальцами. Было похоже, что тело его лишено костей, набито теплой ватой, в которой толчками пульсирует кровь. Разбитые, распухшие ноги горели, их ломило изнутри какой-то тягостной болью, но не было сил ни повернуться, ни пошевелиться.

В этой полудреме Алексей воспринимал жизнь землянки клочками, точно это была не настоящая жизнь, а на экране мелькали перед ним одна за другой несвязные, необыкновенные картины.

Была весна. Беглая деревня переживала самые трудные дни. Доедали последние харчишки из тех, что успели в свое время позарывать и попрятать и что тайком по ночам выкапывали из ям на пепелищах и носили в лес. Оттаивала земля. Наспех нарытые норы «плакали» и оплывали. Мужики, партизанившие западнее деревни, в Оленинских лесах, и раньше нет-нет хоть поодиночке, хоть по ночам наведывавшиеся в подземную деревеньку, оказались теперь отрезанными линией фронта. От них не было ни слуху ни духу. Новая тягота легла на и без того измученные бабы плечи. А тут весна, тает снег, и надо думать о посевах, об огородах.

Бабы бродили озабоченные, злые. В землянке деда Михайлы то и дело вспыхивали между ними шумные споры с взаимными попреками, с перечислением всех старых и новых, настоящих и выдуманных обид. Гомон порой стоял в ней страшный, но стоило хитроумному деду подкинуть в эту гомонящую кашу злых бабьих голосов какую-нибудь хозяйственную мыслишку – о том, не пора ли, дескать, послать ходоков на пепелище глянуть: может, уже отошла земля, или не подходящ ли ветерок, чтобы проветрить семена, проклекшие от душной земляночной сырости, – как сразу же гасли эти ссоры. Раз дед вернулся днем и довольный и озабоченный. Он принес зеленую травинку и, бережно положив ее на заскорузлую ладонь, показал Алексею:

– Видал? С поля я. Отходит земля-то, а озимь, слава тебе господи, ничего, обозначилась. Снега обильные. Смотрел я. Если с яровыми не вывезем, озимь и то кусок даст. Пойду бабам гукну, пусть порадуются, бедолаги!

Точно стая галок весной, зашумели, закричали у землянки бабы, в которых зеленая травинка, принесенная с поля, разбудила новую надежду. А вечером дед Михайла потирал руки.

– Ить, и ничего решили министры-то мои долговолосые. А, Алеха? Одна бригада, значит, на коровах пашет, это где ложок в низинке, где пахота тяжелая. Да много ли напашешь: всего шесть коровенок от стада-то нашего осталось! Второй бригаде поле, что повыше, посуше, – это лопатой да мотыгой. И ништо – огороды-то ведь копаем, выходит. Ну, а третья – на взгорье, там песочек, под картофель, значит, земельку готовим; этим вовсе легко: там ребяташек с лопатами копать заставим и кои бабы слабые – тех. А там, глядишь, и помощь нам будет от правительства, значит. Ну, а не будет, опять невелика беда. Уж мы и сами как-нибудь, уж мы земельку непокрытой не оставим. Спасибо, немца отсюда шугнули, а теперь жисть пойдет. У нас народ жилист, любую тяготу вытянет.

Дед долго не мог уснуть, ворочался на соломе, кряхтел, чесался, стонал: «О господи, боже ты мой!» – несколько раз сползал с нар, подходил к ведру с водой, гремел ковшом, и слышно было, как он громко, точно запаленный конь, пьет крупными, жадными глотками. Наконец он не выдержал, засветил от кресала лучину, потрогал Алексея, лежавшего с открытыми глазами в тяжелом полузабытьи:

– Спишь, Алеха? А я вот все думаю. А? Все вот думаю, знаешь. Есть у нас в деревне на старом месте дубок на площади, да... Его лет тридцать назад, как раз в николаевскую войну, молнией полоснуло – и вершина напрочь. Да, а он крепкий, дубок-то, корень у него

могучий, соку много. Вверх ему ходу не стало, дал вбок росток, и сейчас, гляди, какая опять шапка кудрява... Так вот и Плавни наши... Только бы солнышко нам светило, да земелька рожала, да родная наша власть у нас, а мы, брат Алеха, лет за пяток отойдем, отстроимся! Живучие. Ох-хо-хо, будь здоров! Да еще – чтоб война бы поскорей кончилась! Разбить бы их, да и за дело всем, значит, миром! А, как думаешь?

В эту ночь Алексею стало плохо.

Дедова баня встряхнула его организм, вывела его из состояния медленного, оцепенелого угасания. Сразу ощутил он с небывалой еще силой и истощение, и нечеловеческую усталость, и боль в ногах. Находясь в бредовой полудреме, он метался на тюфяке, стонал, скрежетал зубами, кого-то звал, с кем-то ругался, чего-то требовал.

Варвара всю ночь просидела возле него, подобрав ноги, уткнув подбородок в колени и тоскливо глядя большими круглыми грустными глазами. Она клала ему то на голову, то на грудь тряпку, смоченную холодной водой, поправляла на нем полушубок, который он то и дело сбрасывал, и думала о своем далеком муже, неведомо где носимом военными ветрами.

Чуть свет поднялся старик. Посмотрел на Алексея, уже утихшего и задремавшего, пошептался с Варей и стал собираться в дорогу. Он напялил на валенки большие самодельные калоши из автомобильных камер, лычком крепко перепоясал армяк, взял можжевелевую палку, отполированную его руками, которая всегда сопровождала старика в дальних походах.

Он ушел, не сказав Алексею ни слова.

17

Мересьев лежал в таком состоянии, что даже и не заметил исчезновения хозяина. Весь следующий день пробыл он в забытии и очнулся только на третий, когда солнце уже стояло высоко и от волокового оконца в потолке через всю землянку, до самых ног Алексея, не рассеивая мрака, а, наоборот, сгущая его, тянулся светлый и плотный столб солнечных лучей, пронизавший сизый, слоистый дым очага.

Землянка была пуста. Сверху сквозь дверь доносился тихий, хрипловатый голос Вари. Занятая, должно быть, каким-то делом, она пела старую, очень распространенную в этих лесных краях песню. Это была песня об одинокой печальной рябине, мечтающей о том, как бы ей перебраться к дубу, тоже одиноко стоящему где-то поодаль от нее.

Алексею не раз и раньше доводилось слышать эту песню. Ее пели девчата, веселыми табунами приходившие из окраинных селений ровнять и расчищать аэродром. Ему нравился медленный, печальный мотив. Но раньше он как-то не вдумывался в слова песни, и в суете боевой жизни они скользили мимо сознания. А вот теперь из уст этой молодой большеглазой женщины они вылетали, окрашенные таким чувством и столько в них было большой и не песенной, а настоящей женской тоски, что сразу почувствовал Алексей всю глубину мелодии и понял, как Варя-рябина тоскует о своем дубе.

...Но нельзя рябине
К дубу перебраться.
Видно, сиротине
Век одной качаться... —

пропела она, и в голосе ее почувствовалась горечь настоящих слез, а когда смолк этот голос, Алексей представил, как сидит она сейчас где-то там, под деревьями, залитыми весенним солнцем, и слезами полны ее большие круглые тоскующие глаза. Он почувствовал, что у него у самого защекотало в горле, ему захотелось поглядеть на эти старые, заученные наизусть письма, лежащие у него в кармане гимнастерки, взглянуть на фотографию тоненькой девушки, сидящей на лугу. Он сделал движение, чтобы дотянуться до гимнастерки, но рука бессильно упала на тюфяк. Снова все поплыло в серовой, расплывавшейся светлыми радужными кругами тьме. Потом в этой тьме, тихо шелестевшей какими-то колючими звуками, услышал он два голоса – Варин и еще другой, женский, старушечий, тоже знакомый. Говорили шепотом:

– Не ест?

– Где там ест!.. Так, пожевал вчера лепешечки самую малость – стошнило. Разве это еда? Молочко вот тянет помаленьку. Даем.

– А я вот, гляди, супчику принесла... Может, примет душа супчик-то.

– Тетя Василиса! – вскрикнула Варя. – Неужто...

– Ну да, куриный, чего всполохнулась? Обыкновенное дело. Потрожь его, побуди – можа, поест.

И прежде чем Алексей, слышавший все это в полузабытии, успел открыть глаза, Варя затрясла его сильно, бесцеремонно, радостно:

– Лексей Петрович, Лексей Петрович, проснись!.. Бабка Василиса супчику куриного принесла! Проснись, говорю!

Лучина, потрескивая, горела, воткнутая в стену у входа. В неровном чадном свете ее Алексей увидел маленькую, сгорбленную старуху с морщинистым длинноносым сердитым лицом. Она возилась у большого узла, стоявшего на столе, развернула мешковину, потом

старый шушун, потом бумагу, и там обнаружился чугунок; из него ударил в землянку такой вкусный и жирный дух куриного супа, что Алексей почувствовал судороги в пустом желудке.

Морщинистое лицо бабки Василисы сохраняло суровое и сердитое выражение.

– Принесла вот, не побрезгуйте, кушайте на здоровье. Может, бог даст, на пользу пойдет...

И вспомнилась Алексею печальная история бабкиной семьи, рассказ о курице, носившей смешное прозвище: Партизаночка, и все – и бабка, и Варя, и вкусно дымившийся на столе котелок – расплылось в мути слез, сквозь которую сурово, с бесконечной жалостью и участием смотрели на него строгие старушечьи глаза.

– Спасибо, бабушка, – только и сумел сказать он, когда старуха пошла к выходу.

И уже от двери услышал:

– Не на чем. Что тут благодарить-то? Мои-то тоже воют. Может, и им кто супчику даст. Кушайте себе на здоровье. Поправляйтесь.

– Бабушка, бабушка! – Алексей рванулся к ней, но руки Вари удержали его и уложили на тюфяк.

– А вы лежите, лежите! Ешьте вот лучше супчик-то. – Она поднесла ему вместо тарелки старую алюминиевую крышку от немецкого солдатского котелка, из которого валил вкусный жирный пар. Поднося ее, она отвертывалась, должно быть, для того, чтобы скрыть невольную слезу: – Ешьте вот, кушайте!

– А где дед Михаила?

– Ушел он... По делам ушел, район искать. Скоро не будет. А вы кушайте, кушайте вот.

И у самого своего лица увидел Алексей большую, почерневшую от времени, с обгрызненным деревянным краем ложку, полную янтарного бульона.

Первые же ложки супа разбудили в нем звериный аппетит – до боли, до спазм в желудке, но он позволил себе съесть только десять ложек и несколько волоконцев белого мягкого куриного мяса. Хотя желудок настойчиво требовал еще и еще, Алексей решительно отодвинул еду, зная, что в его положении излишняя пища может оказаться ядом.

Бабкин супчик имел чудодейственное свойство. Поев, Алексей заснул – не впал в забытие, а именно заснул – крепким, оздоравливающим сном. Проснулся, поел и снова заснул, и ничто – ни дым очага, ни бабий говор, ни прикосновение Вариных рук, которая, опасаясь, не умер ли он, нет-нет да и наклонялась послушать, бьется ли у него сердце, – не могло его разбудить.

Он был жив, дышал ровно, глубоко. Он проспал остаток дня, ночь и продолжал спать так, что казалось, нет в мире силы, которая могла бы нарушить его сон.

Но вот ранним утром где-то очень далеко раздался совершенно не отличимый среди других шумов, наполнявших лес, далекий, однообразно воркующий звук. Алексей встрепнулся и, весь напряжившись, поднял голову с подушки.

Чувство дикой, необузданной радости поднялось в нем. Он замер, сверкая глазами. Потрескивали в очаге остывающие камни, вяло и редко пиликал уставший за ночь сверчок, слышно было, как над землянкой спокойно и ровно звенят старые сосны и даже как барабанит у входа полновесная весенняя капель. Но сквозь все это слышался ровный рокот. Алексей угадал, что это тарахтит мотор «ушки» – самолета У-2. Звук то приближался и нарастал, то слышался глуше, но не уходил. У Алексея захватило дух. Было ясно, что самолет где-то поблизости, что он кружит над лесом, то ли что-то высматривая, то ли ища место для посадки.

– Варя, Варя! – закричал Алексей, стараясь приподняться на локтях.

Вари не было. С улицы слышались возбужденные женские голоса, торопливые шаги. Там что-то происходило.

На мгновение приоткрылась дверь землянки, в нее сунулось пестрое лицо Федьки.

– Тетя Варя! Тетя Варя! – позвал мальчуган, потом возбужденно добавил: – Летит... Кружит... Над нами кружит... – Он исчез прежде, чем Алексей успел что-нибудь спросить.

Он сделал усилие и сел. Всем телом своим он чувствовал, как бьется сердце, как возбужденно пульсирует, отдаваясь в висках и в больных ногах, кровь. Он считал круги, совершаемые самолетом, насчитал один, другой, третий и упал на тюфяк, упал, сломленный волнением, снова стремительно и властно ввергнутый в тот же всемогущий, целительный сон.

Его разбудил звук молодого, сочного, басовито рокочущего голоса. Он отличил бы этот голос в любом хоре других голосов. Таким в истребительном полку обладал только командир эскадрильи Андрей Дегтяренко.

Алексей открыл глаза, но ему показалось, что он продолжает спать и во сне видит это широкое, скуластое, грубое, точно сделанное столяром вчерне, но не обтертое ни шкуркой, ни стеклышком добродушное угловатое лицо друга с багровым шрамом на лбу, со светлыми глазами, опущенными такими же светлыми и бесцветными, свинными – как говорили недруги Андрея – ресницами. Голубые глаза с недоумением всматривались в дымный полумрак.

– Ну, дидусь, показуй свий трофей, – прогудел Дегтяренко.

Видение не пропадало. Это был действительно Дегтяренко, хотя казалось совершенно невероятным, как друг смог найти его тут, в подземной деревеньке, в лесной глуши. Он стоял, большой, широкоплечий, с расстегнутым, по обыкновению, воротом. В руках он держал шлем с проводками радиофона и еще какие-то кулечки и сверточки. Лучинный светец освещал его сзади. Золотой бобрик коротко остриженных волос нимбом светился над его головой.

Из-за спины Дегтяренко виднелась бледная, совершенно измученная физиономия деда Михайлы с возбужденно вытаращенными глазами, а рядом с ним стояла медсестра Леночка, курносая и озорная, смотревшая во тьму со зверюшечьим любопытством. Девушка держала под мышкой толстую брезентовую сумку с красным крестом и прижимала к груди какие-то странные цветы.

Стояли молча. Андрей Дегтяренко с недоумением оглядывался, должно быть, ослепленный темнотой. Раза два взгляд его равнодушно скользнул по лицу Алексея, который тоже никак не мог освоиться с неожиданным появлением друга и все боялся, не окажется ли все это бредовым видением.

– Да вот же он, господи, вот лежит! – прошептала Варя, срывая с Мересьева шубу.

Дегтяренко еще раз недоуменно скользнул взглядом по лицу Алексея.

– Андрей! – сказал Мересьев, силясь подняться на локтях.

Летчик с недоумением, с плохо скрытым испугом смотрел на него.

– Андрей, не узнаешь? – шептал Мересьев, чувствуя, что его всего начинает трясти.

Еще мгновение летчик смотрел на живой скелет, обтянутый черной, точно обугленной, кожей, стараясь признать веселое лицо друга, и только в глазах, огромных, почти круглых, поймал он знакомое упрямое и открытое мересьевское выражение. Он протянул руки вперед. На земляной пол упал шлем, посыпались свертки и сверточки, раскатились яблоки, апельсины, печенье.

– Лешка, ты? – Голос летчика стал влажен, бесцветные и длинные ресницы его слиплись. – Лешка, Лешка! – Он схватил с постели это больное, детски легкое тело, прижал его к себе, как ребенка, и все твердил: – Лешка, друг, Лешка!

На секунду оторвал от себя, жадно посмотрел на него издали, точно убеждаясь, действительно ли это его друг, и снова крепко прижал к себе.

– Да то ж ты! Лешка! Бисов сын!

Варя и медсестра Лена старались вырвать из его крепких, медвежьих лап полуживое тело.

– Да пустите ж его, бога ради, он еле жив! – сердилась Варя.

– Ему ж вредно ж волноваться, положите! – скороговоркой, пересыпая свою речь бесконечными «ж», твердила сестра.

А летчик, по-настоящему поверив наконец, что этот черный, старый, невесомый человек действительно не кто иной, как Алексей Мересьев, его боевой товарищ, его друг, которого они всем полком мысленно давно уже похоронили, схватился за голову, издал дикий, торжествующий крик, схватил его за плечи и, уставившись в его черные, радостно сверкающие из глубины темных орбит глаза, заорал:

– Живый! Ах, мать честная! Живый, бис тобі в лопатку! Да где ж ты был столько дней? Как же ты так?

Но сестра – эта маленькая смешная толстушка с курносым лицом, которую все в полку звали, игнорируя ее лейтенантское звание, Леночкой или сестрой медицинских наук, как однажды она, на погибель себе, отрекомендовалась начальству, певунья и хохотушка Леночка, влюбленная во всех лейтенантов сразу, – сурово и твердо отстранила расходившегося летчика:

– Товарищ капитан, отойдите ж от больного!

Бросив на стол букет цветов, за которыми еще вчера летали в областной город, букет, оказавшийся совершенно ненужным, она раскрыла брезентовую сумку с красным крестом и деловито приступила к осмотру. Коротенькие ее пальчики ловко бегали по ногам Алексея, и она все спрашивала:

– Больно? А так? А так?

В первый раз по-настоящему Алексей обратил внимание на свои ноги. Ступни чудовищно распухли, почернели. Каждое прикосновение к ним вызывало боль, точно током пронзавшую все тело. Но что особенно не нравилось, видимо, Леночке – это то, что кончики пальцев стали черными и совсем потеряли чувствительность.

За столом сидели дед Михайла и Дегтяренко. Потихоньку угостившись на радостях из фляги летчика, они вели оживленную беседу. Дробным старческим тенорком дед Михайла, по-видимому уже не в первый раз, принимался рассказывать:

– Так, значит, выходит, ребяташки наши на вырубке его и отыскали. Немцы лес на блиндажи там рубили, ну, ребяташек этих мать, то есть дочка моя, за щепой туда и погнала. Там они его и увидели. Ага, что за чудо за такое? Сперва им, значит, медведь померещился, – дескать, подстреленный и катится этак-то. Они было тягу, да любопытство их повернуло: что за медведь за такой, почему катится? Ага! Не так? Смотрят, значит, катится с боку на бок, катится и стонет...

– Как это «катится»? – усомнился Дегтяренко и протянул деду портсигар: – Куришь?

Дед взял из портсигара папиросу, достал из кармана сложенный кусочек газеты, аккуратно оторвал уголок, высыпал на него табак из папиросы, свернул и, закурив, с удовольствием затянулся.

– Как не курить, курим-потягиваем. Ага! Только мы при немце не видали его, табаку-то. Мох курим, опять же сухой молочайный лист, да!.. А как он катился, ты его спроси. Я не видел. Ребята говорят, так и катился – со спины на брюхо, с брюха на спину: ползти-то ему по снегу, вишь, не под силу было, – вот он какой!

Дегтяренко все порывался вскочить, посмотреть на друга, возле которого возились женщины, укутывая его в серые, привезенные сестрой армейские одеяла.

– А ты, друг, сиди, сиди, не наше это мужское дело – пеленать! Ты слушай, да на ус мотай, да начальству какому-нибудь там своему перескажи... Великого подвига человек этот! Вишь, он какой! Полную неделю всем колхозом его отхаживаем, а он шевелиться не может. А то вот сил в себе насбирал, по лесам да по болотам нашим полз. На это, брат, мало кто способный! И святым отцам по житиям такого-то подвига совершать не приходилось.

Куда там! Экое дело, подумаешь – на столбе стоять! Что, не так? Ага, а ты, парень, слушай, слушай!..

Старик наклонился к уху Дегтяренко и защекотал его своей пушистой мягкой бородашкой.

– Только, сдается мне, он, того, – как бы не помер, а? От немца-то он, вишь, уполз, а от нее, от косой, нешто уползешь? Одни кости, и как он полз, не постигну я. Уж очень, должно быть, к своим тянуло. И бредит-то все одним: аэродром, да аэродром, да слова там разные, да Оля какая-то. Есть у вас там такая? Аль жена, может?.. Ты слышишь меня или нет, летун, а летун, слышишь? Ау...

Дегтяренко не слышал. Он старался представить себе, как этот человек, его товарищ, казавшийся в полку таким обычным парнем, с отмороженными или перебитыми ногами день и ночь ползет по талому снегу через леса и болота, теряя силы, ползет, катится, чтобы только уйти от врага и попасть к своим. Профессия летчика-истребителя приучила Дегтяренко к опасности. Бросаясь в воздушный бой, он никогда не думал о смерти и даже чувствовал какую-то особую, радостную взволнованность. Но чтобы вот так, в лесу, одному...

– Когда вы его нашли?

– Когда? – Старик зашевелил губами, снова взял папиросу из открытой коробки, изувечил ее и принялся делать сигарку. – Когда же? Да в Чистую субботу, под самое Прощеное воскресенье, – стало быть, как раз с неделю назад.

Летчик прикинул в уме числа, и вышло, что полз Алексей Мересьев восемнадцать суток. Проползти столько времени раненому, без пищи – это казалось просто невероятным.

– Ну, спасибо тебе, дидусь! – Летчик крепко обнял и прижал к себе старика. – Спасибо, брат!

– Не на чем, не на чем, за что тут благодарить! Ишь, спасибо! Что я, чужак иностранный какой! Ага! Скажешь, нет? – И он сердито крикнул невестке, стоявшей в извечной позе бабьего горького раздумья, подперев щеку ладонью: – Подбери с полу продукт-то, ворона! Ишь разбросали такую ценность!.. «Спасибо», ишь ты!

Тем временем Леночка закончила укутывать Мересьева.

– Ничего, ничего ж, товарищ старший лейтенант, – сыпала она чистые и мелкие, как горох, словечки, – в Москве ж вас в два счета на ноги поставят. Москва ж – город же! Не таких излечивают!

По тому, что была она излишне оживлена, что без умолку твердила, как вылечат Мересьева в два счета, понял Дегтяренко: осмотр дал невеселые результаты и дела его приятеля плохи. «И чего стрекочет, сорока!» – с неприязнью подумал он о «сестре медицинских наук». Впрочем, в полку никто не принимал эту девушку всерьез: шутили, что лечить она может только от любви, – и это несколько утешало Дегтяренко.

Завернутый в одеяла, из которых торчала только голова, Алексей напоминал Дегтяренко мумию какого-то фараона из школьного учебника древней истории. Большой рукой провел летчик по щекам друга, на которых кустилась густая и жесткая рыжеватая поросль.

– Ничего, Лешка! Вылечат! Есть приказ – тебя сегодня в Москву, в гарный госпиталек. Профессора там сплошные. А сестры, – он прищелкнул языком и подмигнул на Леночку, – мертвых на ноги поднимают! Мы еще с тобой в воздухе пошумим! – Тут Дегтяренко поймал себя на том, что говорит он, как и Леночка, с таким же напускным, деревянным оживлением; руки же его, гладившие лицо друга, вдруг ощутили под пальцами влагу. – Ну, где носилки? Понесли, что ли, чего тянуть! – сердито скомандовал он.

Вместе со стариком осторожно уложили они спеленатого Алексея на носилки. Варя собрала и свернула в узелок его вещички.

– Вот что, – остановил ее Алексей, когда стала она засовывать в узелок эсэсовский кинжал, который не раз с любопытством осматривал, чистил, точил, пробовал на палец хозяйственный дед Михайла, – возьми, дедушка, на память.

– Ну, спасибо, Алеха, спасибо! Сталька знатная, гляди-ка. И написано что-то не по нашему врое. – Он показал кинжал Дегтяренко.

– «Аллес фюр Дойчланд» – «Все для Германии», – перевел Дегтяренко выведенную по лезвию надпись.

– «Все для Германии», – повторил Алексей, вспомнив, как достался ему этот кинжал.

– Ну, берись, берись, старик! – крикнул Дегтяренко, впрягаясь в передок носилок.

Носилки заколыхались и с трудом, осыпая землю со стен, пролезли в узкий проход землянки.

Все, кто набился в нее провожать найденыша, хлынули наверх. Только Варя осталась дома. Не торопясь поправила она лучину в светце, подошла к полосатому тюфяку, еще хранившему вмятые в него очертания человеческой фигуры, и погладила его рукой. Взгляд ее упал на букет, о котором впопыхах все позабыли. Это было несколько веточек оранжерейной сирени, бледной, чахлой, похожей на жителей беглой деревеньки, проводших зиму в сырых и холодных землянках. Женщина взяла букет, вдохнула хилый, еле уловимый в угарной копоти нежный весенний запах и вдруг повалилась на нары и залилась горькими бабьими слезами.

18

Провожать неожиданного своего гостя вышло все наличное население деревни Плавни. Самолет стоял за лесом на подтаявшем у краев, но еще ровном и крепком льду продолговатого лесного озера. Дороги туда не было. По рыхлому, крупитчатому снегу, прямо по целине, вела стежка, протоптанная час назад дедом Михайлой, Дегтяренко и Леночкой. Теперь по этой стежке валила к озеру толпа, возглавляемая мальчишками со степенным Серенькой и восторженным Федькой впереди. На правах старого Друга, отыскавшего летчика в лесу, Серенька солидно шагал перед носилками, стараясь, чтобы не застревали в снегу огромные, оставшиеся от убитого отца валенки, и властно покрикивал на чумающую, сверкавшую зубами, фантастически оборванную детвору. Дегтяренко и дед, шагая в ногу, тащили носилки, а сбоку, по целине, бежала Леночка, то подтыкая одеяло, то закутывая голову Алексея своим шарфом. Позади грудились бабы, девчонки, старухи. Толпа глухо гомонила.

Сначала яркий, отраженный снегом свет ослепил Алексея. Погожий весенний день так ударил ему в глаза, что он зажмурился и чуть не потерял сознание. Легонько приоткрыв веки, Алексей приучил глаза к свету и тогда огляделся. Перед ним открывалась картина подземной деревни.

Старый лес стоял стеной, куда ни глянь. Вершины деревьев почти смыкались над головой. Ветви их, скупно процеживая солнечные лучи, создавали внизу полумрак. Лес был смешанный. Белые колонны голых еще берез, вершины которых походили на сизые, застывшие в воздухе дымы, соседствовали с золотыми стволами сосен, а между ними то тут, то там виднелись темные треугольники елей.

Под деревьями, защищавшими от вражьих глаз и с земли и с воздуха, где снег был давно вытоптан сотнями ног, были накопаны землянки. На ветвях вековых елей сохли детские пеленки, на сучьях сосенок проветривались опрокинутые глиняные горшки и кринки, а под старой елкой, со ствола которой свешивались бороды седого мха, у самого ее могучего комля, на земле меж жилистыми корнями, где по всем статьям полагалось бы лежать хищному зверю, сидела старая, засаленная тряпичная кукла с плоской добродушной физиономией, нарисованной чернильным карандашом.

Толпа, предшествуемая носилками, медленно двигалась по вытоптанной на мху «улице».

Очутившись на воздухе, Алексей ощутил сначала бурный прилив неосмысленной животной радости, потом на смену ей пришла сладкая и тихая грусть.

Маленьким платочком Леночка утерла с его лица слезы и, по-своему истолковав их, приказала носильщикам идти потише.

– Нет, нет, быстрее, давайте быстрее, ну! – заторопил Мересьев.

Ему и без того казалось, что его несут слишком медленно. Он начал бояться, что из-за этого можно не улететь, что вдруг самолет, посланный за ним из Москвы, уйдет, не дождав-шись их, и ему не удастся сегодня попасть в спасительную клинику. Он глухо стонал от боли, причиняемой ему торопливой поступью носильщиков, но все требовал: «Скорее, пожалуйста, скорее!» Он торопил, хотя слышал, что дед Михайла задыхается, то и дело спотыкается и сбивается с ноги. Две женщины сменили старика. Дед Михайла засеменил рядом с носилками, по другую сторону от Леночки. Вытирая офицерской своей фуражкой вспотевшую лысину, побагровевшее лицо, морщинистую шею, он довольно бормотал:

– Ишь гонит, а? Торопится!.. Правильно, Леша, истина твоя, торопись! Раз человек торопится, жизнь в нем крепка, найденыш ты наш разлюбозный. Что, скажешь – нет?.. Ты нам пиши из госпиталя-то! Адресок-то запомни: Калининская область, Бологовский район, будущая деревня Плавни, а? Будущая, а? Ничего, дойдет, не забудь, адресок-то верный!

Когда носилки поднимали в самолет и Алексей вдохнул знакомый терпкий запах авиационного бензина, он снова испытал бурный прилив радости. Над ним закрыли целлулоидную крышку. Он не видел, как махали руками провожающие, как маленькая носатая старушка, похожая в своем сером платке на сердитую ворону, преодолевая страх и поднятый винтом ветер, прорвалась к сидевшему уже в кабине Дегтяренко и сунула ему узелок с недоенной курятиной, как дед Михайла суетился вокруг машины, покрикивая на баб, разгоняя ребятишек, как сорвало с деда ветром фуражку и покатило по льду и как стоял он, просто-волосый, сверкая лысиной и серебристыми жиденькими сединками, развеваемыми ветром, похожий на Николу-угодника немудреного сельского письма. Стоял, махая рукой вслед убегающему самолету, единственный мужчина в пестрой бабьей толпе.

Оторвав самолет от ледяного наста, Дегтяренко прошел над головами провожавших и осторожно, почти касаясь лыжами льда, полетел вдоль озера под прикрытием высокого обрывистого берега и скрылся за лесистым островом. На этот раз полковой сорвиголова, которому на боевых разборах частенько доставалось от командира за излишнюю лихость в воздухе, летел осторожно, — не летел, а крался, льнул к земле, шел по руслам ручьев, прикрываясь озерными берегами. Ничего этого Алексей не видел и не слышал. Знакомые запахи бензина, масла, радостное ощущение полета заставили его потерять сознание, и очнулся он только на аэродроме, когда его носилки вынимали из самолета, чтобы перенести на скоростную санитарную машину, уже прилетевшую из Москвы.

19

Он попал на родной аэродром в самый разгар летного дня, загруженного до предела, как и все дни той боевой весны.

Гул моторов не затихал ни на минуту. Одну эскадрилью, севшую на дозаправку, сменяла в воздухе другая, третья. Все, от летчиков до шоферов бензоцистерн и кладовщиков, выдававших горючее, сбились в этот день с ног. Начальник штаба потерял голос и теперь исторгал какое-то пискливое сипенье.

Несмотря на всеобщую занятость и чрезвычайное напряжение, все в этот день жили ожиданием Мересьева.

– Не привезли? – кричали пилоты механикам сквозь рев мотора, еще не подрулив к своему капониру.

– А об нем не слышать? – интересовались «бензиновые короли», когда очередной бензовоз подруливал к закопанным в землю цистернам.

И все слушали, не трещит ли где-нибудь над леском знакомый полковой санитарный самолет...

Когда Алексей очнулся на упруго покачивающихся носилках, он увидел плотный круг знакомых лиц. Он открыл глаза. Толпа обрадованно зашумела. Возле самых носилок увидел он молодое неподвижное, сдержанно улыбающееся лицо командира полка, рядом с ним широкую красную и потную физиономию начальника штаба и даже круглое, полное и белое лицо командира БАО – батальон аэродромного обслуживания, – которого Алексей терпеть не мог за формализм и скупость. Сколько знакомых лиц! Носилки несет долговязый Юра. Он все время безуспешно старается оглянуться назад, посмотреть на Алексея и потому спотыкается на каждом шагу. Рядом бежит рыженькая девушка – сержант с метеостанции. Алексею раньше казалось, что она за что-то не любит его, старается не попадаться ему на глаза и всегда исподтишка следит за ним каким-то странным взглядом. Шутя он называл ее «метеорологическим сержантом». Возле семенит летчик Кукушкин, маленький человек с неприятным, желчным лицом, которого в эскадрилье не любят за вздорный нрав. Он тоже улыбается и старается попадать в такт огромным шагам Юры. Мересьеву вспомнилось, что перед отлетом он в большой компании зло разыграл Кукушкина за не отданный им долг, и был уверен, что этот злопамятный человек никогда не простит ему обиды. А вот сейчас он бежит около носилок, бережно поддерживает их и свирепо расталкивает локтями толпу, чтобы предохранить его от толчков.

Алексей никогда и не подозревал, что у него столько друзей. Вот они, люди-то, когда раскрываются! Ему стало жаль «метеорологического сержанта», который его почему-то боялся, было неловко перед командиром БАО, о скарденности которого он пустил по дивизии столько шуток и анекдотов, захотелось извиниться перед Кукушкиным и сказать ребятам, что это вовсе уж не такой неприятный и неуживчивый человек. У Алексея было ощущение, что после всех мучений он попал наконец в родную семью, где все ему искренне рады.

Его бережно несли через поле к серебристому санитарному самолету, замаскированному на опушке голого березового леса. Было видно, что техники уже запускают с помощью резинового амортизатора остывший мотор «санитара».

– Товарищ майор... – сказал вдруг Мересьев командиру полка, стараясь говорить как можно громче и увереннее.

Командир, по обычаю своему тихо, загадочно улыбаясь, наклонился к нему.

– Товарищ майор... разрешите мне не лететь в Москву, а тут, с вами...

Командир сорвал с головы шлем, мешавший ему слушать.

– Не надо в Москву, я хочу здесь, в медсанбате.

Майор снял меховую перчатку, нащупал под одеялом руку Алексея и пожал ее.

– Чудак, вас же лечить надо серьезно, по-настоящему.

Алексей замотал головой. Ему было хорошо, покойно. Ни пережитое, ни боль в ногах не казались уже страшными.

– Чего он? – просипел начальник штаба.

– Просит оставить его тут, с нами, – ответил командир, улыбаясь.

И улыбка его в этот момент была не загадочная, как всегда, а теплая, грустная.

– Дурак! Романтика, пример для «Пионерской правды», – засипел начальник штаба. – Ему честь, за ним самолет из Москвы прислали по распоряжению самого командующего армией, а он – скажи пожалуйста!..

Мересьев хотел было ответить, что никакой он не романтик, что просто уверен он – тут, в палатке медсанбата, где он однажды провел несколько дней, залечивая вывих ноги после неудачного приземления на подбитой машине, в родной атмосфере, он поправится скорее, чем среди неведомых удобств московской клиники. Он подобрал уже слова, чтобы ответить начальнику штаба поязвительнее, но произнести их не успел.

Тоскливо завывала сирена. Лица у всех сразу стали деловыми, озабоченными. Майор отдал несколько коротких приказаний, и люди стали разбегаться, как муравьи: кто к самолетам, притаившимся на опушке леса, кто к землянке командного пункта, холмиком возвышавшейся у края поля, кто к машинам, спрятанным в леске. Алексей увидел четко вычерченный дымом на небе и медленно расплывавшийся седой след многохвостовой ракеты. Он понял: «Воздух!»

Сердце его забилося, ноздри заходили, и он почувствовал во всем своем слабом теле возбуждающий холодок, что всегда бывало с ним в минуту опасности.

Леночка, механик Юра и «метеорологический сержант», которым нечего было делать в охватившей аэродром напряженной суе боевой тревоги, втроем подхватили носилки и бегом, стараясь попадать в ногу и, конечно, от волнения не попадая, понесли их к ближайшей лесной опушке.

Алексей застонал. Они перешли на шаг. А вдали уже судорожно тархтели автоматические зенитки. Уже выползали на взлетную дорожку, мчались по ней и уходили в небо один за другим звенья самолетов, и сквозь знакомый звон своих моторов Алексей уже слышал наплывающий из-за леса неровный, качающийся гул, от которого мускулы у него как-то сами собой собирались в комки, напряживались, и он, этот немощный человек, привязанный к носилкам, почувствовал себя в кабине истребителя несущимся навстречу врагу, почувствовал себя гончей, учуявшей дичь.

Носилки не влезли в узкую «щель». Когда заботливый Юра и девушка хотели снести Алексея вниз на руках, он запротестовал и сказал, чтобы оставили носилки на опушке, в тени большой коренастой березы. Лежа под ней, он стал очевидцем событий, стремительно, как в тяжелом сне, развернувшихся в последние минуты. Летчикам редко приходится наблюдать с земли воздушный бой. Мересьеву, летавшему в боевой авиации с первого дня войны, не доводилось видеть воздушный бой с земли ни разу. И вот он, привыкший к молниеносным скоростям воздушной схватки, с удивлением смотрел, каким медленным и нестрашным выглядит воздушный бой отсюда, как тягучи движения стареньких тупоносых «ишачков» и каким безобидным слышится сверху гром их пулеметов, напоминающий здесь что-то домашнее: не то стрекотанье швейной машины, не то хруст медленно разрываемого коленкора.

Двенадцать немецких бомбардировщиков гусиным строем обошли аэродром стороной и исчезли в ярких лучах высоко стоявшего солнца. Оттуда, из-за облаков с полыхающими от солнца краями, на которые больно было смотреть, слышался басовитый, похожий на гуденье майских жуков рев их моторов.

Еще отчаяннее бесновались и лаяли в леске автоматические зенитки. Дымки разрывов расплывались в небе, похожие на летящие семена одуванчика. Но видно ничего не было, кроме редкого взблескивания крыльев истребителей.

Гуд гигантских майских жуков все чаще и чаще перебивали короткие звуки разрываемого коленкора: гrrrr, гrrrr, гrrrr! В сверкании солнечных лучей шел невидимый с земли бой, но был он так непохож на то, что видит участник воздушной схватки, и казался он снизу таким незначительным и неинтересным, что Алексей следил за ним совершенно спокойно.

Даже когда сверху послышался пронзительно сверлящий, нарастающий визг и, точно черные капли, стряхнутые с кисточки, понеслись вниз, стремительно увеличиваясь в объеме, серии бомб, он не испугался и слегка приподнял голову, чтобы посмотреть, куда они упадут.

Тут несказанно удивил Алексея «метеорологический сержант». Когда визг бомб поднялся до самой высокой ноты, девушка, стоявшая по пояс в щели и, как всегда, исподтишка смотревшая на него, вдруг выскочила, бросилась к носилкам, упала и всем дрожащим от волнения и страха телом закрыла его, прижимая к земле.

На мгновение рядом, возле самых глаз, увидел он ее загорелое, совсем детское, с пухлыми губами и тупым облупившимся носиком лицо. Грянул разрыв – где-то в лесу. Сразу же ближе раздался другой, третий, четвертый. Пятый грохнул так, что, подпрыгнув, загудела земля и со свистом упала обрубленная осколком широкая крона березы, под которой лежал Алексей. Еще раз мелькнуло перед глазами бледное, искаженное ужасом девичье лицо, он почувствовал на своей щеке ее прохладную щеку, и в коротком перерыве между грохотом двух бомбовых очередей губы этой девушки испуганно и неистово шепнули:

– Милый!.. Милый!

Новая бомбовая очередь потрясла землю. Над аэродромом с грохотом взметнулись к небу столбы разрывов – точно выскочила из земли шеренга деревьев, их кроны мгновенно распахнулись, потом с громом опали комьями мерзлого грунта, оставив в воздухе бурый, едкий, пахнувший чесноком дым.

Когда дым осел, кругом было уже тихо. Звуки воздушного боя едва слышались из-за леса. Девушка уже вскочила на ноги, щеки ее из зеленовато-бледных стали багровыми, она покраснела до слез и, не глядя на Алексея, извинялась:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.